

Андрей  
ШЛЯХОВ



# КУМИРЫ

Истории Великой  
Любви

Петр Чайковский  
Бумажная любовь

## Annotation

Чем реже встречаются влюбленные, тем сильнее они любят друг друга?

А если они никогда не встретились — что тогда? Их никто не принуждал - они сделали выбор самостоятельно. Только переписывались, переписывались, переписывались...

Их письма — зеркало истории того времени. Баронесса и композитор делились друг с другом всем, что волновало их сердца и интересовало их умы...

---

- [Шляхов Андрей](#)
  - [ГЛАВА ПЕРВАЯ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»](#)
  - [ГЛАВА ВТОРАЯ «ПЕРВОЕ ПИСЬМО»](#)
  - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ «НАДЕЖДА»](#)
  - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ «РЕШЕНИЕ»](#)
  - [ГЛАВА ПЯТАЯ «УДАЧА»](#)
  - [ГЛАВА ШЕСТАЯ «БЕЗУМИЕ»](#)
  - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ «УЗНИК»](#)
  - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ «ПЕРВОЕ БЕГСТВО»](#)
  - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ «ВТОРОЕ БЕГСТВО »](#)
  - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»](#)
  - [ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ «ВЕНЕЦИЯ»](#)
  - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»](#)
  - [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ «БУМАЖНАЯ ЛЮБОВЬ»](#)
  - [ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ...»](#)
  - [ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ «В МОСКВЕ»](#)
  - [ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ «БРАТЬЯ»](#)
  - [ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ «НЕКОТОРОЕ ПОДОБИЕ РАЗВОДА»](#)
  - [ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ «МОСКОВСКИЕ ДНИ»](#)
  - [ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ «МЕЧТЫ, МЕЧТЫ...»](#)
  - [ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ «ФЛОРЕНЦИЯ»](#)
  - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ «ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА»](#)
  - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ «СТУПЕНИ К СЛАВЕ»](#)
  - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ «ПРЕМЬЕРА»](#)
  - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ «МАРЬЯЖНАЯ ДИСПОЗИЦИЯ»](#)

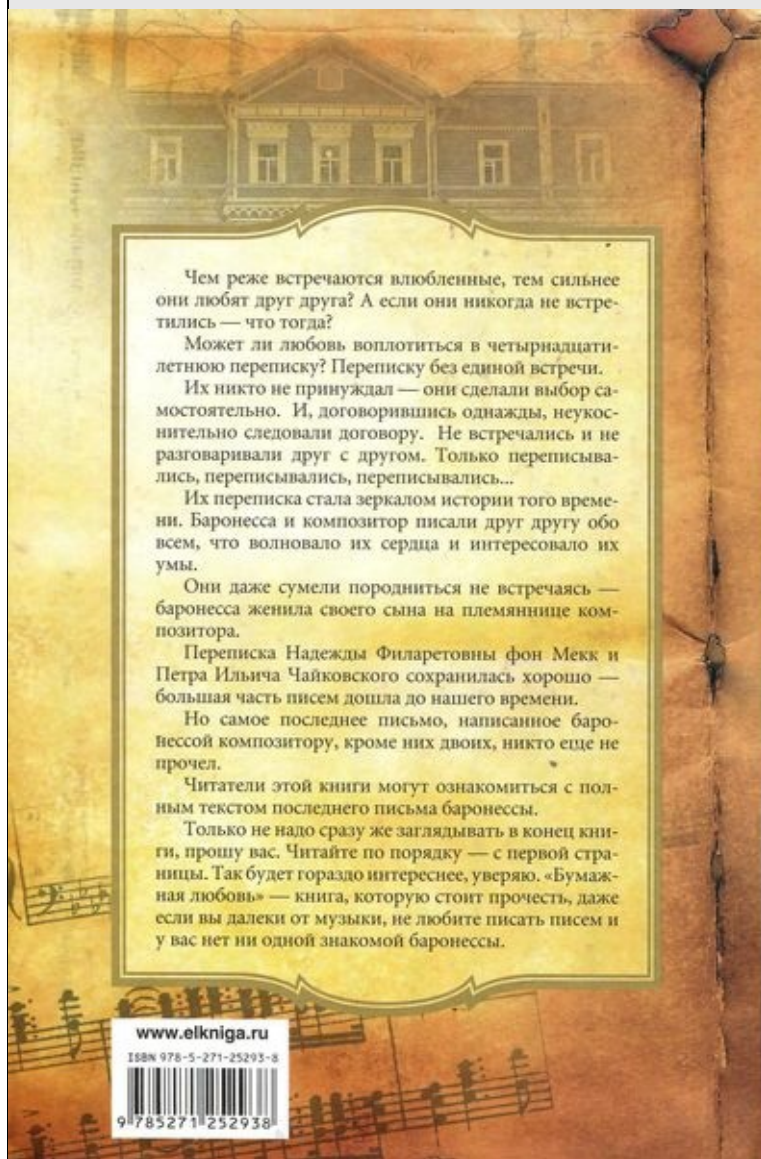
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ «ХАНДРА»](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ «МОГУЧАЯ КУЧКА»](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ «БЛАГОДЕТЕЛЬ»](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ «СКУЧНЫЕ ДЕЛА»](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ «ОБИДНЫЕ СЛОВА»](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ «СОРОК ПЯТЬ»](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ «МЕЧТЫ СБЫЛИСЬ, А РАДОСТИ НЕ СТАЛО»](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ «БОЛЬШЕ СЛАВЫ!»](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ «КОНСЕРВАТОРИЯ»](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ «ФАННИ»](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ «ЗАКАТ»](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ «ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО БАРОНЕССЫ ФОН МЕКК ЧАЙКОВСКОМУ»](#)
- [ЗАКЛЮЧЕНИЕ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
-

# Шляхов Андрей

## Петр Чайковский. Бумажная любовь



Чем реже встречаются влюбленные, тем сильнее они любят друг друга? А если они никогда не встретились — что тогда?

Может ли любовь воплотиться в четырнадцатилетнюю переписку? Переписку без единой встречи.

Их никто не принуждал — они сделали выбор самостоятельно. И, договорившись однажды, неукоснительно следовали договору. Не встречались и не разговаривали друг с другом. Только переписывались, переписывались, переписывались...

Их переписка стала зеркалом истории того времени. Баронесса и композитор писали друг другу обо всем, что волновало их сердца и интересовало их умы.

Они даже сумели породниться не встречаясь — баронесса женила своего сына на племяннице композитора.

Переписка Надежды Филаретовны фон Мекк и Петра Ильича Чайковского сохранилась хорошо — большая часть писем дошла до нашего времени.

Но самое последнее письмо, написанное баронессой композитору, кроме них двоих, никто еще не прочел.

Читатели этой книги могут ознакомиться с полным текстом последнего письма баронессы.

Только не надо сразу же заглядывать в конец книги, прошу вас. Читайте по порядку — с первой страницы. Так будет гораздо интереснее, уверяю. «Бумажная любовь» — книга, которую стоит прочесть, даже если вы далеки от музыки, не любите писать писем и у вас нет ни одной знакомой баронессы.

[www.elkniga.ru](http://www.elkniga.ru)

ISBN 978-5-271-25293-8



9 785271 252938

*Она сидела на полу  
И грудку писем разбирала,  
И, как остывшую золу,  
Брала их в руки и бросала.  
Брала знакомые листы*

*И чудно так на них глядела.  
Как души смотрят с высоты  
На ими брошенное тело...  
О, сколько жизни было тут,  
Невозвратно пережитой!  
О, сколько горестных минут,  
Любви и радости убитой!..*

*Тютчев Ф. И. Она сидела на полу...»*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

— Осторожно, Пьер! Не разбейтесь, мой фарфоровый мальчик!

Фанни, одетая в простое гладкое платье, стояла посреди залитой солнцем залы и от этого казалась золотой статуей, Прекрасной статуей, чей смех так звонок и мелодичен, что похож...

Похож...

Увы — не похож. Виолончель нипочем не заставишь так смеяться...

— Черт бы побрал эту музыку! — недовольно пробормотал он и проснулся.

Навязчивые мысли о новом произведении, не оставляющие его в покое даже во время сна, оборвали радостный сон в самом начале. Он не успел ни обнять Фанни, ни поговорить с ней. Даже запаха ее не успел почувствовать...

Удивительно — в отличие от всех прочих женщин, пахнущих удушливой смесью ароматов, главными нотами которой являются запахи пудры, духов и пота, Фанни пахла ландышами. И чуть-чуть фиалкой, когда сердилась...

Он закрыл глаза и полежал так некоторое время. Тщетно — сон не думал возвращаться.

Досадуя на самого себя, он откинул прочь тяжелое одеяло, сел в кровати и зашарил по полу босыми ногами в поисках домашних туфель, подбитых мехом.

В спальне было темно как ночью — двойные бархатные портьеры не пропускали ни лучика. Вдобавок они полностью поглощали уличные звуки и при этом превосходно сочетались с обстановкой. Темно-синие, с изящным серебряным узором, портьеры обошлись в кругленькую сумму, но он никогда не жалел денег на красивые и добротные вещи.

Он ценил красоту и умел находить ее почти во всем...

Окна открывать не хотелось — это впустило бы в уютную обитель шум и суету большого мира и окончательно испортило настроение. Он нащупал на комодце красного дерева, стоящем у изголовья, коробку со спичками и со второй попытки зажег одну. Переждал мгновение, давая глазам возможность привыкнуть к свету, и проворно зажег все три свечи, торчавшие из простого медного канделябра, стоящего тут же, на комодце.

Канделябр однажды принес ему Иосиф, ученик и нежный друг. Сверкал из-под пенсне глазами и клялся, что сия невзрачная вещица принадлежала самому Моцарту. Поверить в это было трудно, тем более что по первоначальной версии даритель якобы приобрел реликвию в Берлине, а часом позже вместо Берлина уже была названа

Вена. Но бог с ним, вдохновенное вранье, как и любое человеческое творчество, заслуживает награды — поэтому он от уточнений воздержался, поблагодарил за подарок, поставил его на видное место, да так с ним и свыкся.

Свечи горели ровно и тепло. Пренебрегая халатом, он в одной рубашке уселся в кресло и позвонил в колокольчик, оповещая о своем пробуждении.

В ожидании завтрака прикинул в уме «свою бухгалтерию». Итог, как всегда, оказался печальным — долги росли, а доходы за ними не поспевали. Нет бы наоборот.

— Вот ведь удружил дядюшка! — сказал он в пространство давно привычное. — Напророчил, оракул Дельфийский!

Будучи от природы человеком суеверным и мнительным, он не мог простить родному дяде, брату отца, Петру Петровичу, его слов:

— Ты что, спятил, Петруша?! Юриспруденцию менять на трубу?! Карьеру собственноручно погубить?! Опомнись, пока голодать не начал!

Голодать, слава богу, не пришлось, а вот жить сочинителю музыки было... стеснительно, порой даже весьма. Особенно если этот сочинитель с детства привык к хорошей жизни и совершенно не способен экономить. Он снова пожалел о том, что отказался от сотрудничества с «Русскими ведомостями». Должность музыкального репортера позволяла зарабатывать нелишнюю толику денег без особых хлопот. Почти четыре года... И с какой стати это занятие вдруг показалось ему постыдным? Он ни о ком не писал таких мерзостей, которые...

Нахлынувшая печаль зазвучала мелодией, пронзительной и тягучей одновременно. Он вскочил на ноги, бросился к открытому бюро и заскрипел пером по бумаге, мурлыча под нос нечто невнятное.

Скрипнула дверь — Алексей принес завтрак. Неслышно переставил все с подноса на стол и удалился.

Заканчивал он в тусклом свете единственной свечи — две другие уже догорели. Пробежал глазами по исписанным листам, проиграл музыку в уме и остался доволен. Вспомнил про прерванный сон, но уже с предвкушением чего-то хорошего — Фанни всегда снилась к добру.

Встал, прошелся по комнате, подошел к столу, не присаживаясь, отщипнул кусочек ветчины, другой... На третьем остановился и, не

прибегая к услугам колокольчика, громко позвал:

— Алеша!

Алексей явился тут же, должно быть, ждал за дверью.

— Доброго вам утра, Петр Ильич". Можно убрать? — спросил, показывая глазами на завтрак.

— Убирай, — разрешил он. — Писем нет?

— Пишут! — ответил Алексей, что означало «нет». — Газеты?

— В печь газеты! — мгновенно вспыхнул он, вспомнив вчерашний «московский фельетон». — Чтобы и духу их не было!

— В печи им делать нечего, — рассудительно ответил хозяйственный камердинер. — В хозяйство пушу, на обертку.

— Только гляди — провизию в них не завертывай! — погрозил пальцем он. — Они же ядом пропитаны.

Алексей согласно кивнул и ничего не ответил. Золото, а не человек! Все знает — и когда отвечать, и когда смолчать, и это в столь юные годы! Еще бы не вздыхал печально, когда просишь третий графинчик коньяку принести...

День начался.

Пора было отправляться в консерваторию. «Господи! Терпеть практически ежедневно такую скуку ради двух тысяч в год способен только мученик от музыки», — подумал он.

Внимание публики на Большой Никитской невольно задерживалось на мрачноватом, довольно красивом, немолодом уже, господине, видимо чем-то всерьез расстроенном. Глядя прямо перед собою, он скорым шагом дошел до дворца Воронцовых, где располагалась консерватория, и скрылся за массивными дверями.

Швейцар Григорий, принимая пальто и цилиндр, негромко сказал:

— Вас, Петр Ильич, Николай Григорьевич просил зайти.

И при этом позволил себе, скотина, улыбочку. Вернее, не улыбочку, а самое ее зарождение — этакое фривольное движение уголками губ. И глазками масляными в сторону директорского кабинета повел.

«Небось, тоже прочел этот пакостный фельетон, — подумал Петр Ильич. — Всенепременно прочел. Грамотный ведь — недаром в унтер-офицеры выбился. Небось смаковал, мерзавец, «есть еще в консерватории амуры другого рода, но о них, по весьма понятной причине, я говорить не буду». Разве справедливо, что моя репутация падает на всю Консерваторию? Нет — потребую опроверж... Какое там опровержение, если имена не названы. Умеют же... тонко намекнуть. Нет, обойдемся без опровержений. Я сделаю лучше—я женюсь. Пора уже... пусть тогда

ухмыляются...»

Наглого швейцара он недолюбливал всегда, но окончательно невзлюбил его с недавних пор, когда Григорий посмел не пропустить в концертный зал самого Льва Николаевича Толстого в зал, явившегося в консерваторию, по своему обыкновению, в валенках. Мало того что не пустил, он его выталкивать за дверь принялся. Хам, одним словом. Плебей.

Чувствуя, как в душе вибрирует до предела натянутая струна, он подошел к дверям директорского кабинета, расположенного на первом этаже, дважды стукнул в них для проформы костяшками пальцев и после громкого «да- да, прошу!» вошел.

«Ему все кажется, что я только и держусь его благодеяниями. Дескать, со своей позорной репутацией благодари судьбу, что я еще держу тебя», — подумал перед тем, как поздороваться.

— Здравствуйте, Петр Ильич, — осанистый директор поднялся из-за стола и распахнул руки, словно для объятий, однако обниматься не стал — ограничился рукопожатием. — Садитесь, прошу вас. Разговор будет недолгий, но... деликатный.

Натянутая струна зазвенела, готовясь лопнуть.

— Я внимательно слушаю вас, Николай Григорьевич, — негромко сказал он, усаживаясь не на предложенный хозяином диван, а на неудобный казенный стул с высокой спинкой. Сжал губы, задиристо вздернул кверху холеную бородку и устремил взгляд на переносицу собеседника. Этому приему его давным-давно, еще в училище, научил Леля Апухтин, утверждая, что таким образом можно смутить любого.

— Я хочу поговорить с вами о господине Танееве, — начал Николай Григорьевич, вернувшись на свое место. — Мне кажется, что кроме таланта у молодого человека есть... нечто большее, некая... широта мировоззрения, что ли.

Петр Ильич мгновенно расслабился и даже позволил себе улыбнуться. Сережа Танеев, окончивший консерваторию с большой золотой медалью в прошлом году, был одним из его любимых учеников. Именно Танееву решил он посвятить свое только что оконченное произведение — «Франческу да Римини».

— Полностью согласен с вами, Николай Григорьевич, и даже позволю себе добавить, что...

Проговорили с четверть часа и сошлись на том, что столь сведущий человек, да еще и обладающий редкими нравственными достоинствами, непременно должен вернуться в стены альма-матер в качестве преподавателя.

— Не исключая, что впоследствии... — сказал в завершение разговора директор, но тут же оборвал себя.

«...он станет директором», — закончил в уме Петр Ильич и кивнул. Он ничего не имел против.

Начавшийся с Танеева разговор на Танееве и окончился. О «фельетоне» не было сказано ни слова...

Занятия, занятия... Слава богу, никто не пытался заговорить о фельетоне. Петр Ильич уже собрался домой, как вдруг был перехвачен в коридоре Иосифом Котеком.

— Петр Ильич! — возопил темпераментный юноша, потрясая скрипкой, зажатой в левом кулаке, и смычком, что был в правом. — Уделите мне чуточку вашего драгоценного внимания, умоляю.

Пришлось уделить — Иосиф попросил обождать минуту, сбегал за футляром для скрипки, вернулся и предложил:

— Не отобедать ли нам в «Европе»?

— Отчего же нет, — согласился Петр Ильич.

У него не было заведено готовить домашние обеды. Не было и кухарки. Нехитрый завтрак на скорую руку стряпал камердинер Алексей, а за обедом и ужином посылали в ближайший трактир.

Оделись (Петр Ильич не отказал себе в удовольствии помедленнее продевать руки в поданное швейцаром пальто — знай, мол, свое место и не ехидствуй) и вышли на улицу, где накрапывал мелкий противный дождик.

Ванька подвернулся тут же.

— На Неглинную, к гостинице «Европа»! — велел Иосиф, забираясь вслед за Петром Ильичом в пролетку с поднятым верхом. Виртуоз смычка в повседневной жизни был довольно неуклюж.

Иосиф не стал испытывать терпение — рассказал о деле еще в пути. Напустил, правда, поначалу туману.

— Некая весьма известная дама поручила мне крайне деликатное дело, — негромко начал он, склонившись к уху собеседника.

— Стать крестным отцом ее новорожденного малютки, — попытался угадать Петр Ильич.

В обществе Иосифа он всегда чувствовал себя легко и непринужденно, несмотря на солидную разницу в возрасте и положении.

Иосиф рассмеялся так громко, что лошадь убыстрила шаг и поддержала его своим ржанием. Смеялся он вкусно, запрокидывая голову и хлопая в ладоши.

— Ну, будет вам, будет...

— Ах, Петр Ильич, рассмешили, — утирая платком глаза, наконец-то

заговорил весельчак. — Но дело совершенно другое. Одна дама, просившая меня сохранить ее имя в тайне, просила узнать у вас, не будете ли вы оскорблены ее просьбой, можно даже сказать — мольбой, а точнее — заказом.

— Заказ оскорбить не может, — убежденно ответил Петр Ильич, вяло скользя взглядом по бульвару. — Оскорбить может только размер оплаты...

— Об этом можете не беспокоиться — гонорар вы назовете сами. Какой пожелаете. Вас же просят написать две-три фортепианных пьески... Для домашнего музицирования. Если вы ничего не имеете против, я вдамся в подробности...

— Вам ли, дорогой Иосиф, не знать, что я вечно нуждаюсь в деньгах, — вздохнул Петр Ильич. — Давайте подробности, только скажите прежде, кто она — эта ваша Семирамида.

— Баронесса фон Мекк, Надежда Филаретовна, — ответил Иосиф. — Вы незнакомы, но она о вас наслышана.

— И я о ней тоже, — ответил Петр Ильич. — Мне говорил о ней Николай Григорьевич...

— Могу себе представить, — потешно сморщил нос Иосиф. — Небось, сказал, что госпожа баронесса некрасива и стара...

— Я запомнил только, что госпожа баронесса большая оригиналка, — деликатно возразил Петр Ильич.

— Определенно оригиналка, — согласился собеседник. — Несомненно — оригиналка. Но должен заметить, что она умна, имеет о вещах собственное суждение и...

— Стой! Приехали! — рявкнул извозчик.

Лошадь послушно встала.

— Пожалуйте, господа, полтину за быструю езду, — нагло запросил Ванька.

Получил от Иосифа двугривенный, поблагодарил и убрался восвояси.

— Тогда тоже был дождь... — словно про себя сказал Петр Ильич, придерживая рукой головной убор и глядя в свинцово-серое небо.

— Когда? — не понял Иосиф.

— В Байрейте, перед первым представлением «Нибелунгов», — пояснил Петр Ильич. — В одной из лож я видел ее... Однако, что ж мы встали у дверей — промокнем ведь, да и есть хочется.

## ГЛАВА ВТОРАЯ «ПЕРВОЕ ПИСЬМО»

Ежедневная правка инструментальных и гармонических задач способна навсегда убить любовь к музыке. Ну, если не к музыке, то уж к преподаванию — наверняка.

Для Петра Ильича регулярное хождение в консерваторию из занятия превратилось в рутину, а из рутины — в лямку. Лямку давно постылую, а оттого вдвойне, нет — втройне тягостную.

Для творчества совершенно не остается времени и сил, жалование утекает сквозь пальцы, раздражение все растет и растет и вдобавок приходится сносить эти смешки, перешептывания и гадкие многозначительные взгляды за спиной. О Господи, как же хороша, как покойна была бы жизнь, если бы люди были более снисходительны и терпимы...

Нет, порой снисходительность людская бывает поистине безграничной. Можно, искусно передергивая карты, обирать до нитки доверчивых простофиль и оставаться при этом приличным человеком. Не умеешь играть — не садись.

Можно, развлечения ради, соблазнить дочь какого-нибудь лавочника или, к примеру, акцизного чиновника, разбить девушке сердце и похвалиться очередным пополнением списка «блистательных побед» в кругу друзей.

Можно напиться до полной утраты человеческой сущности и устроить безобразный публичный скандал. Поговорят дня два и забудут — с кем не бывает.

Можно тайком поколачивать жену, можно наставлять рога нелюбимому мужу, можно, пребывая в меланхолическом расположении духа, швырять тарелками в прислугу... Можно почти все. Кроме тех вещей, которых общество «не приемлет».

«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы»<sup>[1]</sup>, — сказал Спаситель. Все помнят его слова, но никто им не следует.

Он помотал головой, отгоняя тягостные думы, пригубил коньяку, секунду подумал и допил рюмку залпом. Приятное тепло ненадолго разлилось по душе.

Захотелось спокойной жизни.

Нет, в самом деле, пора назло всем ханжам стать добропорядочным,

женатым, человеком.

Да-да, непременно — женатым. Это обстоятельство заткнет сплетникам рты и заставит их искать другую мишень для упражнений в сомнительном остроумии. Кому интересна приватная жизнь совершенно обыкновенного человека? Да никому!

«С волками жить — по-волчьи выть», — вспомнилось кстати.

Петр Ильич решительно обмакнул перо в чернильницу и продолжил письмо брату Модесту: «...С нынешнего дня я буду серьезно собираться вступить в законное брачное сочетание с кем бы то ни было. Я нахожу, что мои склонности суть величайшая и непреодолимейшая преграда к счастью, и я должен всеми силами бороться со своей природой. Я сделаю все возможное, чтобы в этом же году жениться, а если на это не хватит смелости, то, во всяком случае, бросаю навеки свои привычки. Разве не убийственная мысль, что люди, меня любящие, могут иногда стыдиться меня. А ведь это сто раз было и сто раз будет».

Превосходно очиненное перо (спасибо Алексею) бежало по бумаге легко и приятно. «Словом, я хотел бы женитьбой или вообще гласной связью с женщиной зажать рты разной презренной твари, мнением которой я вовсе не дорожу, но которая может причинить огорчения людям, мне близким».

Они с Модестом всегда прекрасно понимали друг друга. Пожалуй, только ему можно было писать столь откровенно: «Я так заматерел в своих привычках и вкусах, что сразу отбросить их, как старую перчатку, нельзя. Да притом я далеко не обладаю железным характером, и после моих писем к тебе уже раза три отдавался силе природных влечений».

Окончив письмо, он пожал плечами и почувствовал, что левое затекло и ноет от долгого сидения за столом. Он поднялся и стал расхаживать по комнате, совершая энергичные круговые взмахи руками. Бросил взгляд на свое отражение в зеркале, висевшем на стене, и не смог удержаться от улыбки — настолько потешно он выглядел.

— Разумеется, она не должна быть слишком молода и прекрасна, — наедине с самим собой он любил рассуждать вслух. — И, конечно же, не очень уж... чувственна. Репутация рогоносца мне ни к чему — снова пойдут слухи, начнутся домыслы... Нет, она должна быть скромна, сдержанна, деликатна. Она станет мне другом, преданным и бескорыстным. Она подарит мне покой, а я отблагодарю ее...

Тут он осекся и стал лихорадочно подбирать ответные дары.

Богатство отпадало сразу, без раздумий — он был богат одними лишь долгами. Может быть, позже... Нет, решительно пора браться за ум и

писать оперу. Таковую, которая не только прославит, но и озолотит его! Опера, и именно только опера, сближает композитора с людьми, роднит его музыку с публикой, делает его творчество достоянием всего народа!

Ему вспомнилась недавняя заметка в «Петербургской газете». Одну фразу он перечитал несколько раз подряд и в результате запомнил наизусть: «Несмотря на более или менее враждебное отношение всей музыкальной критики к опере «Кузнец Вакула» Чайковского, несмотря также на видимое равнодушие публики во время спектакля, произведение это возбуждает сильный интерес и продолжает делать полные сборы по возвышенным ценам». Полные сборы да еще по возвышенным ценам! Не в этом ли залог скорого богатства? Да, но пока... он может предложить ей дружбу, понимание, опеку, наконец.

Он станет ей братом. Это у него неплохо получается — Модька и Толя в нем души не чают.

Чайковский замер, вспомнив, как музицировал близнецам на рояле, а они внимали ему, преисполненные благодарности и восторга. На глаза навернулись слезы умиления.

— Ну вот — начал строить планы и тут же расчувствовался как гимназистка, — он подошел поближе к зеркалу и погрозил пальцем своему отражению.

Отражение ответило тем же.

Он уселся на диван. Разбуженная собака Бишка, сладко спавшая там же, проснулась и обиженно таякнула. Пришлось брать ее на колени и почесыванием за ушами заглаживать свою вину.

Вместо Бишки представилась ему дама среднего возраста с приятным и одновременно умным лицом, которая положила голову... нет — лучше руку, ему на колено, выражая тем самым свою признательность и дружбу. О, как же это славно — иметь рядом близкого, все понимающего друга! Причем — друга, чье присутствие не дает пищу кривотолкам и сплетням. Нет, хорошо он написал брату: «разной презренной твари»... Эх, если бы можно было сказать им это в лицо!

Он не мог выносить шумных сборищ и до беспамятства боялся одиночества. Алексею дозволялось отлучаться только во время отсутствия барина и никак иначе.

— Нет, больше с женитьбой тянуть нельзя!

Пообещав себе принять все меры к тому, чтобы найти в обозримом будущем подходящую кандидатуру, он окончательно успокоился и вернулся к переписке.

Запечатал послание брату, надписал сверху адрес и приступил к

последнему на сегодня письму. Следовало написать ответ баронессе фон Мекк, которая оказалась настолько любезной, что щедрое вознаграждение за выполненный им заказ сопровождала письменной благодарностью. Короткой, но весьма теплой и искренней.

Он взял в руки полученное с утренней почтой письмо и прочитал: «Говорить Вам, в какой восторг меня приводят Ваши сочинения, я считаю неуместным, потому что Вы привыкли и не к таким похвалам, и поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться Вам только смешным, а мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись, поэтому скажу только и прошу верить этому буквально, что с Вашей музыкою живетсЯ легче и приятнее». Дорогая бумага, затейливая монограмма, каллиграфический почерк. Слышал он краем уха, что у баронессы больные суставы. Врут, конечно же, врут — с больными суставами так четко писать невозможно.

Ответ родился в мгновение:

«Милостивая государыня Надежда Филаретовна!

Искренно Вам благодарен за все любезное и лестное, что Вы изволите мне писать. Со своей стороны, я скажу, что для музыканта среди неудач и всякого рода препятствий утешительно думать, что есть небольшое меньшинство людей, к которому принадлежите и Вы, так искренно и тепло любящее наше искусство».

Настроение, навеянное грустными думами, выплеснулось и сюда. Он поколебался — не лучше ли убрать «и всякого рода препятствий», но оставил, как есть. Подписал «Искренно Вам преданный и уважающий П. Чайковский» и крикнул:

— Алеша, будь любезен чаю!

Этот миг, когда с делами покончено и можно приниматься за написание музыки, всегда наполнял его душу радостью.

Выпив подряд две чашки обжигающего, крепкого до густоты напитка, он распорядился:

— Ко мне никого не пускай, говори, что нездоровится!

Вот еще один недостаток холостяцкой жизни. Отчего-то считается, что к холостяку, в отличие от женатого человека, вполне допустимо нагрянуть в любое время без приглашения. Мало того что нежданные гости утомляют, они еще и отвлекают от творчества. Сердце несколько раз сильно ударило в грудь при воспоминании о том, как во время работы над одной из фортепианных пьес, что составили цикл «Времена года», черт принес в гости отставного вояку Бочечкарова. Старик, мнящий себя ценителем музыки, был изрядно навеселе. Говорил много и сбивчиво, с воспоминаний

перескакивал на нравоучения, которые сменялись критикой... День был бы потерян безвозвратно, если бы не Алексей. Сообразил же, умница, поднести гостю одну за другой три порции коньяку, от которых тот тут же заснул крепким сном. На этом благодеяния доброго слуги не закончились — он уступил Бочечкарову свою постель, а сам провел ночь на кухонном столе. Да еще и шутил после:

— Хоть какая-то польза от стола, раз уж кухарку не держим, чтобы на нем стряпать, так вместо кровати пригодился.

Музыка уже звучала в голове и настоятельно требовала к себе внимания. Он похрустел для разминки пальцами и принялся записывать.

Субботний день хорош тем, что его можно почти целиком посвятить любимому занятию. Не дождавшись распоряжения насчет обеда, Алексей по собственному почину послал дворникова сына Митьку за ужином и в положенное время просунул в дверь голову, чтобы тихо сказать:

— Изволите отужинать, Петр Ильич?

— Как? — удивился хозяин, просидевший, по обыкновению, с задернутыми портьерами и совершенно утративший чувство времени. — Разве ужинать пора? Ты не спутал, Алеша?

Посмотрел на циферблат напольных часов, сверился с хронометром, вытащенным за цепочку из кармана халата, и разрешил:

— Накрывай.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ «НАДЕЖДА»

Карлуша по молодости простить себе не мог, что пренебрег военной карьерой, поступив в Петербургский институт путей сообщения. Все ему казалось, что здесь он прозябает, а там бы непременно преуспел. Карлуша вообще был мечтателен, честолюбив, капельку завистлив и при этом удивительно мягок. Словно глина — бери и лепи что хочешь... Хочешь — неудачника, хочешь — миллионщика.

Надежда выбрала второе. Она спокойно командовала мужем, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте. Подумаешь, важность — десять лет! Сам папенька, Филарет Алексеевич, остерегался спорить с не по годам рассудительной дочерью. Да не то чтобы спорить — порой откровенно совета спрашивал. Заявится поутру, еще до завтрака, в комнату дочери, осведомится о том, как изволила почивать (папенька всегда был избыточно церемонен), и, теребя пояс домашнего халата, скажет:

— Тут Меркулов предлагает у него землицы прикупить, что ты посоветуешь, Наденька?

Деловитая Наденька тут же засыпала отца вопросами:

— Какую землю сосед продает?

— Сколько десятин?

— Что хочет?

— Деньги сразу платить или в рассрочку?

Получив сведения, думала недолго, умилительно морща лоб, и выносила вердикт:

— Не надо нам такой покупки. Невыгодно. Меркулов и сам это превосходно знает. Погодите, папенька, вот увидите — он на четверть цену скинет!

И как по писаному читала — получив отказ, плут Меркулов молчал два дня, после чего снижал цену на треть! Папенька радовался выгоде, рассыпался в похвалах и из ближайшей же поездки в Смоленск непременно привозил любимой дочери что-нибудь из драгоценностей. Баловал. Надежда благодарила и убирала очередную побрякушку в шкатулку — к драгоценностям она всегда была равнодушна.

Однажды так и сказала отцу:

— Продали бы вы, папенька, мои драгоценности и вложили бы вырученную сумму в какое-нибудь выгодное дело.

Сказала и сразу же прикусила язычок — испугалась, что с папенькой

апоплексический удар случится. Он вдруг побагровел, задышал тяжело и руками замахал:

— Ты что, Наденька, с ума сошла? Драгоценности — это капитал, приданое твое, а выгодные дела — бесовский соблазн! Сегодня выгода, а завтра — пшик!

Маменька, Анастасия Дмитриевна, присутствовавшая при этом, выразилась прямо:

— Чудит Надежда — явно замуж ей пора!

Вскоре после этого Карлуша предложение сделал...

А каких сил стоило Карлушу на путь истинный наставить да в люди вывести. Это умер он одним из богатейших людей в Российской империи, а поначалу ведь приходилось каждую копейку считать.

Начальство Карлушу не любило. Можно сказать — даже пренебрегало им, потому что все знали — Карл Федорович mzды не берет. Ну а раз ничего не берет, значит, и начальство уважить ему нечем. Какой смысл такого человека по служебной лестнице продвигать? Никакого!

Карлуша же все вздыхал по несостоявшейся военной карьере и продолжал исправно ходить на службу — семья прирастала ежегодно. Надежда несколько раз намекала супругу на то, что неплохо было бы уйти на вольные хлеба, а однажды, убедившись в бесполезности намеков, вызвала его после ужина на откровенный разговор.

— Карл, не пора ли тебе заняться настоящим делом? — спросила она, глядя в глаза мужу.

— Разве я не делом занят? — удивился тот. — Я...

— Да я не о том! — сердито перебила она. — Твою службу нельзя считать «настоящим делом»!

— Но почему? — удивился Карлуша и даже попробовал возмутиться. — Служба — это, знаешь ли, это... это...

Надежда подождала немного и продолжила:

— Это невыносимо! Твоя служба заставляет тебя забыть, что у тебя есть разум, воля, человеческое достоинство! Ты стал куклой в руках бездарных кукловодов, которые руководят тобой!

— Но, позволь...

— Не позволю! — она встала, подошла к продолжавшему сидеть за столом мужу, обняла его и прошептала на ухо: — Теперь — или никогда!

Карлуша покинул ее неожиданно, она до сих пор не могла еще до конца свыкнуться с мыслью о том, что его больше нет. Многочисленные заботы о деле, о детях, о внуках помогли ей прийти в себя после тяжелой потери, но в одно утро она вдруг поняла, что не в состоянии жить без друга

— человека, которому интересны ее мысли, чаяния, душевные порывы. Человека, с которым можно обсудить любую проблему, зная, что непременно встретишь понимание и сочувствие...

Ее не понимал никто — подчиненные трепетали, дети и внуки слушались, прислуга всячески старалась угодить.

Ей никто не сочувствовал — напротив, завидовали.

В обществе баронессу фон Мекк считали большой... оригиналкой. Но терпели — состояние фон Мекков говорило само за себя. Не столько темпами своего роста, как своими размерами.

— Она мнит себя императрицей! — чесали острые, словно бритва, язычки светские дамы. — У нее собственная империя — железные дороги, имение, размером с добрую половину губернии, мануфактуры, сахарные заводы...

— Кроме этого у нее есть свой «Эрмитаж», придворные музыканты...

— И не одни лишь музыканты — она содержит целый двор! Выскочка!

— Наворовали из казны и мнят о себе!

— Что за времена настали — умение оказаться в нужном месте и в нужный час ценится превыше всего!

— Ах, не говорите! Нынче оборотистость важнее родословной!

— Гербы сейчас носят в кошельках...

Свет был недобр и неласков к Надежде фон Мекк, и она перестала выезжать и принимать у себя.

Истомившееся в одиночестве сердце искало, искало и наконец нашло себе пару. Во всяком случае, на слова «хотелось бы мне много, много при этом случае сказать Вам о моем фантастичном отношении к Вам, да боюсь отнимать у Вас время, которого Вы имеете так мало свободного. Скажу только, что это отношение, как оно ни отвлеченно, дорого мне как самое лучшее, самое высокое из всех чувств, возможных в человеческой натуре» она получила незамедлительный ответ: «Я преисполнен самых симпатических чувств к Вам. Это совсем не фраза. Я Вас совсем не так мало знаю, как Вы, может быть, думаете. Если бы Вы потрудились в один прекрасный день удостоить меня письменным изложением того многого, что Вы хотели бы сказать, то я бы был Вам чрезвычайно благодарен».

Ах, неужели!

Нет — он просто хорошо воспитан! И вообще — Чайковский очень тактичный и деликатный человек, именно так о нем отзываются. Поэтому не стоит обольщаться...

А если хочется обольщаться? Если сердце жаждет?

Две с лишним недели терзалась она в сомнениях, больше всего боясь

показаться ему смешной и навязчивой старухой («старухе» было тогда всего сорок шесть лет), но — решилась.

Дала себе слово, что, если все пойдет не так, как следует, это письмо будет последним, и не стала сдерживать себя — вложила всю себя в несколько аккуратно исписанных листов бумаги. Себя настоящую, не ту, которая представала перед родней и подчиненными. Она трижды рвала написанное в мельчайшие клочья и принималась писать заново. С каждым новым письмом она становилась все моложе и моложе, трескался и отваливался кусками панцирь, в котором томила душа.

«Дайте мне Вашу фотографию; у меня есть их две, но мне хочется иметь от Вас», — написала гимназистка Наденька Фроловская, а баронесса фон Мекк добавила: «Мне хочется на Вашем лице искать тех вдохновений, тех чувств, под влиянием которых Вы писали музыку, что уносит человека в мир ощущений, стремлений и желаний, которых жизнь не может удовлетворить. Сколько наслаждения и сколько тоски доставляет эта музыка. Но от этой тоски не хочешь оторваться, в ней человек чувствует свои высшие способности, в ней находит надежду, ожидание, счастье, которых жизнь не дает».

Жизнь не поскупилась на материальные блага, но по части счастья оказалась весьма скупой. Окруженная толпой детей и внуков, служащих и слуг, Надежда страдала от одиночества. Даже покойный муж, которого она потихонечку начинала идеализировать, никогда не уделял ей много внимания — больше занимался делами.

«Я стала искать возможности узнать об Вас как можно больше, — продолжала она. — Не пропускала никакого случая услышать что-нибудь, прислушивалась к общественному мнению, к отдельным отзывам, ко всякому замечанию, и скажу Вам при этом, что часто то, что другие в Вас порицали, меня приводило в восторг, — у каждого свой вкус. Еще на днях из случайного разговора я узнала один из Ваших взглядов, который меня так восхитил, так сочувствен мне, что Вы разом стали мне как будто близким и, во всяком случае, дорогим человеком. Мне кажется, что ведь не одни отношения делают людей близкими, а еще более сходство взглядов, одинаковые способности чувств и тождественность симпатий, так что можно быть близким, будучи очень далеким».

— Можно быть близким, будучи очень далеким! — повторила она вслух, радуясь удачному, а главное — точному выражению.

Она некрасива, это ни для кого не новость. Нос длинен, глаза посажены столь глубоко, что кажутся темными, брови над ними густы, руки некрасивы — сухи, да вдобавок и короткопалы. И вся фигура ее

лишена той плавности линий, той чарующей женственности, той грации, что составляют неперенные принадлежности красоты. Голос тоже нехорош — сколько ни прислушивайся, перелива колокольчиков в нем не услышать, разве что скрип несмазанных колес. Хотя многие находят ее голос приятным... Льстят, определенно льстят.

Она немолода. Увы, безжалостное время берет свое, не спрашиваясь. Впрочем, графиня де Луан, одна из первых светских львиц Парижа, не намного младше ее, а живет в полную силу... Ну, нам Париж не указ — в России своим умом живут.

Зато она умна, образованна и умеет быть интересным собеседником.

Трезвый расчетливый ум, привыкший извлекать наибольшую пользу из любых обстоятельств, подсказал единственно верное решение — личные встречи излишни, их следует избегать. Во всяком случае — пока.

Сердце тревожно забилося, но не решилось перечить высшей инстанции.

«Было время, что я очень хотела познакомиться с Вами, — простодушно призналась гимназистка. Баронесса фон Мекк не стала более рвать письмо, а просто добавила: «Теперь же, чем больше я очаровываюсь Вами, тем больше я боюсь знакомства, — мне кажется, что я была бы не в состоянии заговорить с Вами, хотя, если бы где-нибудь нечаянно мы близко встретились, я не могла бы отнестись к Вам как к чужому человеку и протянула бы Вам руку, но только для того, чтобы пожать Вашу, но не сказать ни слова. Теперь я предпочитаю вдали думать об Вас, слышать Вас в Вашей музыке и в ней чувствовать с Вами заодно».

Разве это не счастье — духовная близость со столь замечательным человеком, который пишет такую, поистине волшебную музыку. Дочь Юлия слушала «Франческу да Римини», когда Рубинштейн впервые представил ее публике, дирижируя оркестром. Сказала — было великолепно, всем очень понравилось. Интересно — почему это Петр Ильич никогда не дирижирует? Должно быть, есть причины...

Он весь такой светлый, такой добрый и вдруг выбрал для фантазии такую мрачную тему... Ах, какая она дура — как же она сразу не догадалась! Он излил душу в своем произведении, а она не догадалась сразу! Ему больно, ему тоскливо, ему безнадежно!

Надежда фон Мекк резко встает и быстрым шагом удаляется в библиотеку. В ее доме порядок царит повсюду поэтому спустя каких-то пять минут она возвращается в кабинет с увесистым томом в руках.

Остается всего лишь найти нужный эпизод, прочесть его дважды, вздохнуть, отложить Данте в сторону и продолжить письмо. И не просто

продолжить, а обратиться с просьбой. Просьба оригинальна — сделать для нее похоронный марш по мотивам понравившегося места из оперы «Опричник».

Знала бы госпожа баронесса, что Чайковскому об «Опричнике» и вспоминать тягостно!

Поначалу, когда он только написал ее, опера показалась ему прелестной, но уже во время первой репетиции Чайковский полностью разочаровался в своем творении! Даже не раз убегал с репетиции, чтоб и не слышать ни одного звука, восклицая при этом: «Нет движения! Нет стиля! Нет вдохновения!»

В дверь тихонько постучали. Кто-то свой — не то Юлия с очередным увещеванием поберечь себя и отдыхать побольше... Да, точно — Юлия.

Не до нее сейчас — стоит отложить письмо и больше никогда к нему не вернуться. Не хватит духу.

— После! После! — нервно крикнула она.

В дверь больше не стучали.

«Позвольте мне, Петр Ильич, в переписке с Вами откинуть такие формальности, как «милостивый государь» и т. п., — они мне, право, не по натуре, и позвольте просить Вас также в письмах ко мне обращаться без этих тонкостей».

Решимость иссякла. Пора было ставить точку.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ «РЕШЕНИЕ»

Весна 1877 года явила себя москвичам сразу, без заморозков. Вот и сегодня, в Светлый понедельник, не по-весеннему щедрое солнце радовалось начавшемуся накануне празднику вместе с городом и его жителями. Все вокруг дышало любовью к ближнему, дышало малость тяжело — очень уж, как водится, обильными были праздничные застолья, но любви от этого меньше не становилось. Даже свирепый городской у церкви Введения Богоматери, что на Лубянке, не грозил, по всегдашнему обыкновению, кулаком зазевавшемуся извозчикам, всерьез опасаясь потерять равновесие от столь энергичных действий.

Чайковский неспешно шел по улице и хмурился — ему все не давало покоя письмо, полученное недавно. Любовное письмо от восторженной незнакомки.

Год назад он прочел бы его, бросил в огонь камина и тут же забыл.

Год назад, но не сейчас, когда решение найти подходящую кандидатуру в супруги все крепло, а кандидаток все не было. И не предвиделось...

Он заставил себя ответить ей. По своему обыкновению — сразу, иначе невежливо. Поблагодарил за внимание — и только.

Надо признаться, что письмо было хорошо. Трогательное, искреннее и очень откровенное.

«Порой, встречая Вас, случайно или даже намеренно, бывает и так, я прохожу мимо Вас, дорогой мой Петр Ильич, и сердце мое трепещет от любви к Вам и страха быть разоблаченной. Вдали от Вас я обещаю себе, что в следующий раз непременно подойду к Вам и заговорю с Вами, но «следующий раз» настает, а решимость моя куда-то девается.

Вы можете подумать обо мне плохо, но уверяю Вас, Петр Ильич, чувство к Вам — это первое сильное, всепоглощающее, всеобъемлющее чувство, поселившееся в моей душе».

И так далее — безграничная любовь, невозможность дальнейшей жизни без него (чего только не навыдумывают эти девицы!), пространные уверения в том, что она порядочная девушка. И комплименты его музыке, разумеется.

Имя, впрочем, у нее было приятное, мелодичное — Антонина Ивановна. Фамилия ему нравилась меньше — Милюкова.

На следующий день ему подумалось, что ответил он зря. Не стоило

обнадеживать простодушную.

К приходу второго письма от девицы Милюковой он совершенно позабыл о ней. Письмо было пространной копией предыдущего, насыщенным всей этой дребеденью — слезливыми мольбами, клятвенными уверениями, чрезмерными восторгами.

Глаза зацепились за фразу: «Мы с Вами, Петр Ильич, пока еще не знакомы, но мы не чужие друг другу — нас объединила музыка, которую по праву можно считать высшим из искусств! Признаюсь Вам, что я, как и Вы, не чужда музыке. Я училась в консерватории у господина Лангера, Эдуарда Леонтьевича».

При первом же удобном случае он навел о ней справки у Лангера (классы их находились почти рядом).

— Не припомните ли, Эдуард Леонтьевич, была у вас такая ученица — Антонина Ивановна Милюкова. Хотелось бы узнать Ваше мнение о ней. Для себя, приватно.

— Милюкова... Милюкова... — призадумался Лангер. — Антонина Ивановна, говорите?

— Да, Антонина Ивановна.

— Вспомнил! — обрадовался коллега. — Была такая девица в учениках — Милюкова. Вынужден Вас разочаровать, Петр Ильич — большей дуры свет не видывал, во всяком случае, стены моего класса — наверняка. Но, — Лангер поднял кверху указательный палец, — собой хороша. Определенно хороша. Личико смазливое, фигурка, знаете ли. Красавицей не назовешь, но весьма приятной на вид особой — смело.

Поднял палец еще выше, для чего пришлось почти полностью вытянуть руку, и добавил:

— Увы — только на вид! Инструмент мучила, меня мучила, сама мучалась.

— Спасибо вам, Эдуард Леонтьевич, — поблагодарил Чайковский. — Вы мне очень помогли.

Тактичный Лангер воздержался от вопросов и уточнений, хотя по глазам было видно, что его разбирает любопытство. Действительно — с чего бы это Петру Ильичу понадобилось наводить справки о столь неинтересной особе?

Перед тем как уснуть, он перечитал ее письмо. Лангер прав — и впрямь дура душой, знаков препинания толком расставить не может. И порой... заносит ее. Определенно заносит.

«Я вижу, что пора уже мне начать себя переламявать, что Вы и сами упомянули мне в первом письме. Теперь, хоть я и не вижу Вас, но утешаю

себя мыслью, что Вы в одном со мной городе. Но где бы я ни была, я не буду в состоянии ни забыть, ни разлюбить Вас. То, что мне понравилось в Вас, я более не найду ни в ком, да, одним словом, я не хочу смотреть ни на одного мужчину после Вас...»

Разве он хоть чем-то обнадежил ее? Жестом, словом, запиской? Всего лишь ответил на первое письмо. Нигде не переходя границы обычных светских приличий.

Взгляд его упал на фотографию баронессы фон Мекк, стоящую на рояле. Они уговорились обменяться фотографиями, баронесса прислала ему свою, на которой она была снята с самой младшей дочерью, пятилетним ребенком, получив от него кабинетную карточку.

У него не было фотографии Антонины Милюковой, но он и без того чувствовал, что две дамы, с которыми он волею судьбы начал переписку, разительно непохожи друг на друга.

Это чувствовалось по всему — стилю писем, их содержанию, тону, деликатности...

Помимо прочего — с баронессой они условились избегать личных встреч, общаясь только перепиской, пылкая же девица просто напрашивалась на свидание.

Однако ж девица имела одно неоспоримое преимущество перед Надеждой Филаретовной — с ней можно было сочетаться законным браком. Антонина Ивановна не имела одиннадцать детей, никогда не была замужем, не вдовела, не обладала огромным состоянием... То, что надо — брак с такой особой не вызовет никаких сплетен и пересудов, а наоборот — прекратит их навек.

Более всего он боялся взять в жены особу, уже побывавшую в браке. Одному богу известно, чего могут требовать от нового мужа женщины, уже получившие вкус к супружеской жизни. Нет — только девицы. Их пылкость еще можно направить в нужное русло. Русло духовности, взаимного уважения, общности интересов.

Петр Ильич убеждал себя, что ищет подходящий объект, но объект все не находился — настолько вялы и непоследовательны были его поиски. А тут — сама судьба послала ему шанс.

Но стоит только представить, что здесь, в его уютной квартире, может поселиться совершенно чужая женщина, женщина, с привычками и желаниями которой (в быту, естественно) ему придется считаться... Уже не проходишь весь воскресный день в халате, не сможешь, когда она спит, играть на рояле... Ей надо будет уделять должное внимание, выходить с ней в свет, устраивать приемы, ведь женщины без этого скучают...

Вернешься домой из консерватории, желая поскорее отдаться творчеству, и обнаружишь в гостиной толпу жеманных подруг жены, с которыми, приличия ради, непременно придется просидеть добрую половину вечера, дабы не показаться невежей.

А вдруг она решит завести кухарку и дома вечно будет пахнуть стряпней? К тому же эти кухарки такие... неприятные, не чета Алексею. Кроме того — она не сможет обходиться услугами одного лишь Алексея и непременно заведет горничную — дама все же.

За все надо платить — понадобятся средства, которых у него нет. Разве что... Впрочем, она писала, вернее, давала понять, что деньги у нее есть... Правда ли это?

Охватив руками готовую буквально расколоться от дум голову, Чайковский расхаживал взад-вперед. Несколько глотков коньяка помогли успокоиться, он постоял, дожидаясь, пока мысли упорядочатся, а потом, не присаживаясь, написал Антонине Ивановне совсем короткое письмо, сухое, холодное, почти официальное. Письмо, ставящее крест на дальнейшей переписке. Теперь можно и спать.

Решение принято, но почему на душе так беспокойно? Какая-то мысль мешает уснуть. Мысль, связанная с перепиской. Надежда Филаретовна? Нет, при чем здесь она?

Кто еще писал ему? О господи — не ему, конечно же, не ему писала Татьяна Ларина! Она написала Онегину! Такое письмо... Леля никогда не мог спокойно прочесть это место у Пушкина — начинал рыдать взахлеб. Место и впрямь проникновенное... Как там, дай бог памяти:

Поверьте: моего стыда  
Вы не узнали б никогда,  
Когда б надежду я имела  
Хоть редко, хоть в неделю раз  
В деревне нашей видеть вас,  
Чтоб только слышать ваши речи,  
Вам слово молвить, и потом  
Все думать, думать об одном  
И день и ночь до новой вст речи.  
Но, говорят, вы нелюдим;  
А мы... ничем мы не блестим,  
Хоть рады вам...

Как же это письмо непохоже на письма девицы Милюковой! Но, полно вспоминать о том, кто не заслуживает воспоминаний. Никакой Антонины Милюковой он не знает и знать не хочет! А письмо Татьяны определенно звучит, звучит!

Зачем вы посетили нас?  
В глуши забытого селенья  
Я никогда не знала б вас,  
Не знала б горького мученья.  
Души неопытной волненья  
Смирив со временем (как знать?),  
По сердцу я нашла бы друга.  
Была бы верная супруга  
И добродетельная мать.  
Другой!.. Нет, никому на свете  
Не отдала бы сердца я!  
То в высшем суждено совете—  
То воля неба: я твоя;  
Вся жизнь моя была залогом  
Свиданья верного с тобой;  
Я знаю, ты мне послан богом,  
До гроба ты хранитель мой...  
Ты в сновиденьях мне являлся,  
Незримый, ты мне был уж мил,  
Твой чудный взгляд меня томил,  
В душе твой голос раздавался

Нет, это тема! Черт возьми — это именно то, что он искал так долго! Вот она — его будущая опера! Какое чудное сочетание откровенности и целомудрия! Недаром Лавровская давеча советовала ему обратить внимание на «Онегина». Он не придал значения ее словам, поскольку Евгений Онегин ему никогда не нравился, но к черту Онегина! Татьяна станет героиней его оперы! Нет, надо будет при случае поблагодарить Лизавету Андреевну за удачную подсказку...

Давно... нет, это был не сон!  
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,  
Вся обомлела, запылала

И в мыслях молвила: вот он!  
Не правда ль? Я тебя слыхала:  
Ты говорил со мной в тиши,  
Когда я бедным помогала  
Или молитвой услаждала  
Тоску волнуемой души?  
И в это самое мгновенье  
Не ты ли, милое виденье,  
В прозрачной темноте мелькнул,  
Проникнул тихо к изголовью?  
Не ты ль, с отрадой и любовью,  
Слова надежды мне шепнул?

Перед глазами возникла Татьяна Ларина, пишущая Онегину. Да, пожалуй, вот такую женщину он и желал найти. Сколько мудрости вложил поэт в слова юной девушки!

Кто ты, мой ангел ли хранитель,  
Или коварный искуситель:  
Мои сомненья разреши.  
Быть может, это все пустое,  
Обман неопытной души!  
И суждено совсем иное...  
Но так и быть! Судьбу Мою  
Отныне я тебе вручаю,  
Перед тобою слезы лью,  
Твоей защиты умоляю...  
Вообрази: я здесь одна,  
Никто меня не понимает,  
Рассудок мой изнемогает,  
И молча гибнуть я должна.  
Я жду тебя: единым взором  
Надежды сердца оживи  
Иль сон тяжелый перерви,  
Увы, заслуженным укором!

Недаром говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло!».

Назойливая корреспондентка, сама того не желая, подала ему превосходную мысль!

Громкий смех барина разбудил чутко спящего Алексея. Он вскочил, зажег свечу и, держа ее в левой руке, не одеваясь, в том, как был, поспешил к нему, шлепая по полу босыми ногами. Вбежал и увидел Петра Ильича, сотрясающегося от смеха лежа на диване. Услышав Алексея, он привстал и произнес:

— *Но так и быть — рукой пристрастной*  
Прими собрание пестрых глав,  
Полусмешных, полупечальных,  
Простонародных, идеальных,  
Небрежный плод моих забав,  
Бессонниц, легких вдохновений,  
Незрелых и увядших лет,  
Ума холодных наблюдений  
И сердца горестных замет...

— Что с вами? — ужаснулся Алексей. — Вам нездоровится?

— Мне не может нездоровиться, друг мой! — садясь, ответил Петр Ильич. — Зажги свечей побольше, принеси коньяку, чаю и ложись спать! Мечта моя близка к воплощению! Кстати, ты Пушкина любишь?

— Как же не любить, — отвечал Алексей. — Люблю. Пушкина все любят!

— Это вселяет надежду.

Алексей уже успел привыкнуть к тому, что Петр Ильич порой любил выражаться загадочно.

## ГЛАВА ПЯТАЯ «УДАЧА»

«В презренном металле я действительно очень нуждаюсь. Долго было бы Вам рассказывать, как и почему человек, зарабатывающий средства, вполне достаточные для более чем безбедного существования, запутался в долгах до того, что они по временам совершенно отравляют его жизнь и парализуют рвение к работе. Именно теперь, когда нужно скоро уехать и перед отъездом обеспечить себе возможность возвращения, я попал в очень неприятное скопление денежных затруднений, из которого без посторонней помощи выйти не могу.

Эту помощь я теперь решился искать у Вас. Вы — единственный человек в мире, у которого мне не совестно просить денег. Во-первых, Вы очень добры и щедры; во-вторых, Вы богаты. Мне бы хотелось все мои долги соединить в руках одного великодушного кредитора и посредством его высвободиться из лап ростовщиков. Если бы Вы согласились дать мне заимообразно сумму, которая раз навсегда освободила бы меня от них, я бы был безгранично благодарен Вам за эту неоценимую услугу. Дело в том, что сумма моих долгов очень велика: она составляет что-то вроде трех тысяч рублей. Эту сумму я бы уплатил Вам тремя различными путями: 1) исполнением различного рода работ, как, например, аранжементов, подобных тем, которые я для Вас уже делал: 2) предоставлением Вам перспективной платы, которую я получаю с дирекции за мои оперы, и 3) ежемесячной присылкой части моего жалованья».

А теперь о приятном: «я, во-первых, поглощен симфонией, которую начал писать еще зимой и которую мне очень хочется посвятить Вам, так как, мне кажется, Вы найдете в ней отголоски Ваших сокровенных чувств и мыслей».

Кажется, неплохо получилось, но все же может быть воспринято как назойливость или, пуще того — как наглость.

Можно сказать, что для нее три тысячи суций пустяк (так оно и есть), но для людей, сделавших состояние собственноручно, деньги пустяком быть не могут. Легкомысленное отношение к презренному металлу свойственно тем, у кого за душой — только одни лишь долги, ибо именно оно, легкомыслие, к долгам и приводит...

Хорошо бы обосновать свою просьбу, подкрепить ее веским доводом, чтобы, не дай бог, не утратить ее уважения. Как бы объяснить ей то, что все эти постоянные расчеты только мешают... Впрочем, так и надо написать,

только сначала предупредить возможный упрек в отсутствии такта: «Мне бы очень было тяжело, если бы моя просьба показалась Вам неделикатною. Я решился на нее всего более оттого, что она раз навсегда исключила бы из наших сношений с Вами элемент денежный, весьма щекотливый, когда ему приходится всплывать так часто, как это до сих пор было. Мне кажется, что наши сношения с Вами сделаются теперь, во всяком случае, более искренними и простыми. Переписка, которая всякий раз влечет за собой, с одной стороны, уплату, а с другой — получение денег, не может быть безусловно искренна».

И напоследок. — «Я почему-то уверен, что, как бы Вы ни приняли это письмо, оно не может изменить Вашего мнения о моей честности. В случае, если б, паче чаяния, оно не понравилось Вам, прошу извинить меня. Я очень нервен и раздражен все эти дни, и весьма может статься, что завтра я буду раскаиваться в своем поступке».

Довольно, на этом пора заканчивать. Лишние слова только все испортят.

Утром он раздумал было отправлять письмо, но к вечеру все же решился. О колебаниях известил Надежду Филаретовну отдельно, в следующем письме, и...

Он получил все, чего желал. Даже с избытком.

«Благодарю Вас искренно, от всего сердца, многоуважаемый Петр Ильич, за то доверие и дружбу, которые Вы оказали мне Вашим обращением в настоящем случае, — писала Надежда Филаретовна. — В особенности я очень ценю то, что Вы сделали это прямо ко мне, непосредственно, и прошу Вас искренно всегда обращаться ко мне как к близкому Вам другу, который Вас любит искренно и глубоко. Что касается средств возвращения, то прошу Вас, Петр Ильич, не думать об этом и не заботиться, — я сама их найду.

Вы ничего не ответили мне на мою просьбу позволить мне писать Вам всегда, когда мне захочется получить от Вас письмо, т. е. вести с Вами переписку по внутреннему желанию, а не по делу только. Для набожных людей нужны апостолы, проповедники религии, большею частью искаженной. Для меня нужны Вы, чистый проповедник моего любимого, высокого искусства».

От радости проповедник высокого искусства даже прослезился. Она не отвергла его, она поняла его, она поможет ему! О, милая Надежда Филаретовна! О, ангел, ниспосланный ему свыше в награду за все перенесенные страдания!

«Что касается посвящения мне Вашей симфонии, то я могу сказать

Вам, что Вы также единственный человек, от которого мне было бы это приятно и дорого».

Единственный! И она тоже единственная. Чуткая, все понимающая и преисполненная доброты. Она так непохожа на прочих женщин... Она — идеал!

Что ж — теперь можно вздохнуть посвободнее. Кредиторы перестанут докучать, жизнь станет приятной, какой она и должна быть. Можно спокойно ехать в деревню к Шиловскому, очень милому человеку, живущему со своей не менее милой супругой и семейством в своем имении Глебово близ Нового Иерусалима.

Константин Степанович Шиловский писал по его просьбе либретто для оперы «Евгений Онегин». Он настойчиво звал Чайковского погостить у них летом, обещая, как и всегда, представить в его распоряжение отдельный флигель и фортепиано. Чайковский любил гостить у Шиловских, ему там было хорошо...

Радость, переполнявшая Петра Ильича, требовала выхода. Вдруг захотелось сделать кому-нибудь нечто приятное. Просто так, беспричинно и безвозмездно. Почему-то тут же всплыла в памяти Милюкова, да не просто всплыла, а стала вдруг казаться похожей на Татьяну Ларину... Чайковский уже забыл, что не собирался продолжать знакомство с Антониной Ивановной, забыл, что совсем недавно видел Татьяну Ларину полной противоположностью Милюковой, и даже собирался оперой своей дать Антонине Ивановне нечто вроде урока, преподнести ей пример для подражания в образе Татьяны.

Он решил написать Милюковой и почувствовал, что исполнение этого решения приятно ему.

Он написал, что вспоминает о ней, будучи признателен судьбе, совершенно незаслуженно наградившей его столь искренними поклонниками его творчества.

Он написал, что на деле он далек от идеала, живущего в ее воображении. Что поделать — он стар, ему уже тридцать семь лет, у него несносный характер, живя один, он привык потакать своим капризам и не привык считаться с кем-либо. Если этого мало, то вот еще — он не вполне здоров (без утайки расписал ей все «прелести» своего катара), вследствие чего склонен к меланхолии и сварливости.

— Что ж, если это не отпугнет ее, то мне придется присмотреться к ней, — сказал он вслух. — Быть может, она не так глупа, как показалось Лангеру.

Увы, практичный, наблюдательный и трезвомыслящий Лангер никогда

не ошибался в людях! Если бы только знать...

Вот и Глебово. Встречать Чайковского вышли все — хозяин, хозяйка и бывшие у них гости. Объятия, восторги, непременная, хорошо еще — краткая, лекция о древности рода Шиловских (Константин Степанович очень гордился тем, что его звали точно так же, как и основателя рода), долгие чаепития, приятные беседы и непередаваемая обстановка всеобщего радушия, искреннего и безграничного. Само созерцание счастливого семейства Шиловских говорило в пользу женитьбы. Между Константином Степановичем и его супругой, бывшей одиннадцатью годами старше мужа, царило взаимопонимание, уважение и снисхождение к слабостям друг друга. О, счастливцев Шиловский!

Спустя несколько дней он вернулся домой, в Москву, в свою квартиру, где ждали его несколько писем от Антонины Ивановны.

Сразу читать не стал, поскольку порядком утомился в дороге. Отдохнул как следует (даже вздремнул немного) и лишь тогда вскрыл первое из писем.

«Неужели же Вы прекратите со мной переписку и не повидавшись ни разу? Нет, я уверена, что Вы не будете так жестоки. Бог знает, может быть, Вы считаете меня за ветреницу и легковверную девушку и потому не имеете веры в мои письма. Но чем же я могу доказать Вам правдивость моих слов, да и наконец, так и лгать нельзя. После последнего Вашего письма я еще вдвое полюбила Вас, и недостатки Ваши ровно ничего для меня не значат».

Ему понравился тон письма. Хотя чуть дальше она снова впадала в свой обычный грех: «Я умираю с тоски и горю желанием видеть Вас» или еще хуже: «Я готова буду броситься к Вам на шею, расцеловать Вас, но какое же я имею на то право? Ведь Вы можете принять это за нахальство с моей стороны». Нахальство и есть, лучше было бы вообще не упоминать об этом. И сколько можно твердить о своей порядочности?

Он к месту, или не совсем к месту, вспомнил слова Лели Апухтина: «Порядочность подобна сну — обладая ею, не замечаешь ее вовсе».

Ну, зачем же опять писать: «Могу Вас уверить в том, что я порядочная и честная девушка в полном смысле этого слова и не имею ничего, что бы я хотела от Вас скрыть. Первый поцелуй мой будет дан Вам и более никому в свете. Жить без Вас я не могу, а потому скоро, может быть, покончу с собой. Еще раз умоляю Вас, приходите ко мне».

Решительно, мужчинам не дано понимать женщин. Вот оно — самое тяжкое последствие первородного греха.

Все письма заканчивались одним и тем же: «Целую и обнимаю Вас крепко, крепко».

— Достаточно будет ограничиться разговором! — сказал он сам себе и... написал Антонине Ивановне не письмо, а скорее извещение, в котором сообщал, что нанесет\* ей визит в пятницу вечером.

Запечатав письмо, долго раздумывал о правильности своего решения и в итоге почти убедил себя в том, как человек симпатизирующий ему и не отвергающий его недостатков, Антонина Ивановна может оказаться весьма подходящей женой. Она молода, но не юна, следовательно — уже успела освободиться от иллюзий, свойственных юному возрасту. Она никогда не была замужем и утверждает, что никого не любила... Кстати, вполне возможно, что именно этим объясняется ее чрезмерная пылкость. Эта мысль уже приходила ему в голову.

Очень удачно, что она разбирается в музыке. Такая жена сможет стать первой слушательницей и первым критиком его произведений, его преданной советчицей. Он непременно потребует от нее быть объективной и беспристрастной — это окажет ему неоценимую помощь.

Он постарается сделать все, чтобы она была счастлива в браке, а она. в свою очередь, сделает то же самое, и все устроится наилучшим образом.

Удивительно — но он ждал пятницы с нетерпением. Очень хотелось наконец-то увидеть Антонину Ивановну...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ «БЕЗУМИЕ»

Бывают встречи роковые, бывают встречи незабываемые, бывают встречи досадные...

Их знакомство можно было назвать скучной встречей.

Коллега Лангер не соврал — Антонина Ивановна и впрямь была недурна собой.

Коллега Лангер не соврал ни в чем — барышня действительно была глупа.

Лангер никогда не говорил неправды и очень этим гордился.

В чрезмерно разукрашенной всякими «-милыми безделушками» комнате она усадила его пить чай и сразу же доложила:

— Вы, Петр Ильич, должно быть, знаете, что наш род Милюковых ведет свое происхождение с незапамятных времен?

— Да, да. Конечно, — поспешил подтвердить он.

— Откровенно говоря, не с таких уж незапамятных, — поправились она. — Основателем рода был выходец из Европы Стефан Милюк, воевода, героически погибший в Куликовской битве. Многие его потомки успешно служили Отечеству...

В отличие от того же Шиловского, она рассказывала о предках невкусно — уставилась на него и бубнила без выражения. И слова ее были заезжены и невзрачны.

«Нахваливает себя, словно породистую лошадь, — мелькнула невежливая мысль. — Сейчас от родословной перейдет к своим достижениям».

Так и вышло.

— Я окончила Елизаветинский женский институт, куда меня отдали в десятилетнем возрасте, — продолжала Антонина Ивановна. — А после окончательно осознала, что не мыслю себе жизни без музыки, и поступила в консерваторию, где имела счастье увидеть вас на одном из концертов...

Даже о встрече с ним она говорила, не меняя интонации и не проявляя ни малейших признаков оживления, словно о чем-то обыденном, банальном. Куда девалась вся пылкость? Неужели истратилась в письмах?

— И вот уже четыре года я живу только вами, дорогой Петр Ильич...

— Мне, право же, неловко, Антонина Ивановна. Я никак не могу понять, что в моей внешности могло так пленить вас. Может быть, вас впечатлило мое творчество? — предположил Чайковский.

И услышав ответ, чудом не свалился со стула — настолько неожиданным он был.

— Признаться честно, я плохо знакома с вашими произведениями, — потупила взор барышня, покраснев ушами. — Но я полностью разделяю то восхищение, которое.» которым...

Окончательно смутилась и предложила, указывая рукой на выдавшее виды фортепиано, стоявшее в углу. Обстановка жилища Антонины Ивановны, зарабатывавшей, по собственному признанию, на жизнь самостоятельно, была не из дорогих.

— Может быть, вам угодно будет сыграть что-то из созданного вами... Для меня.

Пришлось подчиниться. Отрадно было, что музыку она слушает молча, поэтому он играл долго, пока не устал.

Опять пили чай (надо отдать должное: чай был хорош) и беседовали. После нескольких фраз, выражавших восхищение, она снова заговорила о себе. Генеалогия, образованность, душевные качества остались позади — настал черед материальных сфер.

— Отец мой, Иван Алексеевич, царствие ему небесное, оставил после себя лес возле Клина. Почти сорок десятин. Мы с мама подумываем продать его. Как по-вашему — стоит?

— Затрудняюсь ответить, Антонина Ивановна, — он удивился вопросу, сегодня он вообще много удивлялся. — Я не сведущ в подобных вещах.

— Я тоже, — вздохнула она. — Но решение принимать мне. Лес этот — часть моего приданого... Я вообще-то девушка очень серьезная и во всем ценю обстоятельность и деловой подход.

— А я ветрен, нелюдим, сварлив и при этом ужасный транжира! — вдруг- вспылал он. — Мой камердинер, Алеша Софронов, вот, пожалуй, единственный человек, который способен уживаться со мной и покорно сносить мои капризы, за что я его поистине боготворю, мученика безгрешного! Любить я, к сожалению, не умею и сердцем ни к кому не привязываюсь! Подумайте хорошенько, Антонина Ивановна, нужно ли вам такое... знакомство? Что оно даст вам доброго?

— Мне самой, Петр Ильич, — голос ее задрожал, и он испугался, что будет вынужден лицезреть истерику, — мне для себя не надо решительно ничего. Я не требовательна, наоборот — я готова к самопожертвованию. Всего лишь одна мечта владеет мной безраздельно — составить счастье любимого мною человека, единственного друга моего... Я все отдам вам, Петр Ильич, все сделаю для вашего блага, только не пренебрегайте моей

дружбой, прошу вас!

Он уже приготовился к бегству, как вдруг она заговорила спокойно и ровно:

— Не думайте, Петр Ильич, что перед вами несчастное, всеми позабытое существо. Я, между прочим, могла бы уже быть генеральшей. Ко мне сватался один генерал, но я ему отказала, потому что не испытывала к нему никаких чувств.

— Зачем вы говорите мне это, Антонина Ивановна?

— Я не хочу, Петр Ильич, чтобы между нами оставались неясности, — ответила Антонина Ивановна, — и, признаюсь честно, жду от вас того же....

Возвращался он в странном расположении духа — откровенность Антонины Ивановны, принимаемая им за искренность, подкупала, а все остальное настораживало, если не пугало.

Но — любит.

Но — не оспаривает его взглядов.

Но — выражает готовность прощать.

Но — молода, недурна собой, родовита, музыкальна в какой-то мере.

В конце концов, он же намерен жениться. Надо решаться, на безрыбье, как говорится...

Чувствуя его нерешительность, Антонина Ивановна выждала для приличия два дня и написала Чайковскому письмо.

Или, точнее говоря — выставила ультиматум.

Он не насторожился, не прозрел — напротив, запаниковал, и поддался.

Честно говоря, совершенно не искушенный в женском коварстве, он и не мог устоять.

«Дорогой мой Петр Ильич, — писала она. — Если Вы решились нанести вечером визит одинокой девушке, то этим своим поступком вы уже связали навсегда наши судьбы».

За первым выстрелом следовал второй: «Увы, но я скомпрометирована навеки, и жить с таким пятном на репутации не могу».

И завершающий залп из всех орудий: «Или Вам будет угодно сделать меня своей законной женой, или, клянусь, я покончу счеты с жизнью!»

Сраженный, он прочитал в конце письма невинно-наивное. — «У меня еще никогда не было вечером в гостях холостого мужчины». Боже правый! Он, оказывается, способен скомпрометировать поздним визитом незамужнюю девушку! «Надо написать Модесту — пусть повеселится», — решил он.

«А вдруг она действительно наложит на себя руки? — ужаснулся

он. — И укажет в предсмертном письме мое имя? Мало мне сплетен, так будет еще одна, после которой от меня отвернутся все без исключения... Репутация погубителя невинной души, совершенно незаслуженная и такая ужасная! Как быть?! Как же быть?!»

Утро вечера мудренее — он пил весь вечер и всю ночь проплакал от жалости к себе. Вспоминал детство, мать, Фанни и жалел, что рядом нет Модеста, тот бы утешил его по-братски и дал бы совет. Алексей тоже не спал всю ночь — караулил, как бы не случилось припадка.

Обошлось. Утром он посмотрел на себя в зеркало и испугался своего вида — на него смотрел семидесятилетний старец. Зажмурился в испуге, потряс головой, прогоняя наваждение, и открыл глаза — теперь он выглядел лет на пятьдесят. Лучше, конечно, но все же...

Предложение было неслыханным по своей форме:

— Я, к величайшему моему сожалению, не люблю вас, Антонина Ивановна, и никогда не полюблю, но, идя навстречу вашим чаяниям, я готов предложить вам стать моей женой.

Позволю себе еще раз обратить ваше внимание на то, что характер у меня странный, и еще на то, что я вряд ли смогу сделать вас счастливой. Я, как вы уже слышали, подвержен припадкам необоснованного раздражения, во время которых становлюсь совершенно невыносим для окружающих, я не люблю шумных сборищ, меня часто тяготит общение с другими людьми, и, кроме того, я беден, практически нищ. Однако я готов стать для вас... братом, верным другом, старшим товарищем, опорой на жизненном пути. Подумайте же еще раз и скажите — готовы ли вы соединить свою судьбу с моей?

— Я принимаю ваше предложение, Петр Ильич, и обещаю, что со мной вы будете счастливы, — не раздумывая, ответила она, до неприличного светясь от счастья.

И протянула ему руку для поцелуя. Мягкую, белую, обильно надушенную.

Пришлось поцеловать.

— Свадьбу я намереваюсь сыграть через месяц, после того, как покончу кое с какими делами, — сказал он на прощание. — Сделайте милость, не говорите пока никому о нашем решении, прошу вас.

— Если вы так хотите, — улыбнулась она, — если вам это надо, то я буду нема, как рыба.

Краткими письмами известил отца и братьев о грядущем событии, не удержался и рассказал новость Алеше, хотя вначале и не собирался этого делать. Бедный мальчик, изрядно повзрослевший и, увы, подурневший за

последнее время, искренне расстроился предстоящему появлению в доме незнакомой женщины.

— Не волнуйся, друг мой, — поспешил утешить его Петр Ильич, — она тебе понравится. Что ни говори, а она умеет понравиться.

Она действительно умела делать это, но вряд ли намеревалась вести так себя всю жизнь.

Тремя днями позже Чайковский получил письмо от Надежды Филаретовны. Баронесса сообщила ему свой летний адрес (с дачи в Сокольниках она переезжала в свое имение Браилов, расположенное в Каменец-Подольской губернии). «Это край по своей природе, растительности и климату прелестный. Свой Браилов я ужасно люблю, как самого по себе, так и по весьма дорогим воспоминаниям. Когда я бываю там, мне хочется, чтобы всем людям на земле было так же хорошо, как мне. Об Вас я буду там вспоминать больше, чем где-нибудь, потому что всегда человек там, где ему нравится, больше всего думает о тех, кого любит», — написала она, повторив на расставание, что какое бы далекое расстояние ни разделяло их, Петр Ильич не должен забывать, что он имеет в ней самого искреннего друга, всегда готового принять участие во всем, что его касается.

«Две разные женщины любят меня, — думал он. — Насколько же они не похожи друг на друга, ах, если бы...»

И вспоминал гоголевские строки: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь, поди подумай! просто голова даже стала болеть».

Кстати, Гоголь, кажется, так и прожил всю жизнь холостяком.

Чайковский снова уехал в Глебово, где и пробыл почти до дня венчания. О Антонине Ивановне почти не вспоминал — работал над оперой.

Работалось ему хорошо, увлеченно.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ «УЗНИК»

«Я самым неожиданным для себя образом сделался женихом в последних числах мая. Это произошло так. За несколько времени перед этим я получил однажды письмо от одной девушки, которую знал и встречал прежде. Из этого письма я узнал, что она давно уже удостоила меня своей любовью. Письмо было написано так искренно, так тепло, что я решился на него ответить, чего прежде тщательно в подобных случаях избегал. Хотя ответ мой не подавал моей корреспондентке никакой надежды на взаимность, но переписка завязалась. Не стану Вам рассказывать подробности этой переписки, но результат был тот, что я согласился на просьбу ее побывать у ней. Для чего я это сделал? Теперь мне кажется, как будто какая-то сила рока влекла меня к этой девушке. Я при свидании снова объяснил ей, что ничего, кроме симпатии и благодарности за ее любовь, к ней не питаю. Но, расставшись с ней, я стал обдумывать всю легкомысленность моего поступка. Если я ее не люблю, если я не хочу поощрить ее чувств, то почему я был у нее и чем это все кончится? Из следующего затем письма я пришел к заключению, что если, зайдя так далеко, я внезапно отвернусь от этой девушки, то сделаю ее действительно несчастной, приведу ее к трагическому концу. Таким образом, мне представилась трудная альтернатива: или сохранить свою свободу ценою гибели этой девушки (гибель здесь не пустое слово: она в самом деле любит меня беспредельно) или жениться. Я не мог не избрать последнего. Меня поддержало в этом решении то, что мой старый восьмидесятидвухлетний отец, все близкие мои только о том и мечтают, чтобы я женился. Итак, в один прекрасный день я отправился к моей будущей супруге, сказал ей откровенно, что не люблю ее, но буду ей, во всяком случае, преданным и благодарным другом. Я подробно описал ей свой характер, свою раздражительность, неровность темперамента, свое нелюдимость, наконец, свои обстоятельства. Засим я спросил ее, желает ли она быть моей женой. Ответ был разумеется, утвердительный».

Этим-то и хороши письма — пока опишешь все на бумаге, сам разберешься, что к чему. Обдумаешь не торопясь (мысль-то куда быстрее пера бежит), перечтешь написанное и все в уме. а то — и в душе, расставишь по своим местам.

Чайковский любил письма. Писал их обстоятельно, помногу и с удовольствием.

Наслаждаясь пикантностью ситуации — не каждому выпадало рассказывать одной из женщин, с которой тебя связывает не просто переписка, но и определенная близость интересов, можно сказать даже — духовная близость. о том, как ты сделал предложение заведомо нелюбимой женщине и что испытывал после того, как оно было принято.

«Не могу передать Вам словами те ужасные чувства, через которые я прошел первые дни после этого вечера. Оно и понятно. Дожив до тридцати семи лет с врожденною антипатиею к браку, быть вовлеченным силою обстоятельств в положение жениха, притом нимало не увлеченного своей невестой, — очень тяжело. Нужно изменить весь строй жизни, нужно стараться о благополучии и спокойствии связанного с твоей судьбой другого человека, — все это для закаленного эгоизмом холостяка не очень-то легко. Чтоб одуматься, привыкнуть спокойно взирать на свое будущее, я решился не изменять своего первоначального плана и все-таки отправиться на месяц в деревню».

«Я решил, что судьбы своей не избежать и что в моем столкновении с этой девушкой есть что-то роковое». Эта фраза ужаснет добрую Надежду Филаретовну, в представлении которой рок никогда не бывает добрым. Она прослезится, страдая от жалости к своему единственному другу и одновременно — от собственного бессилия, ибо все ее богатство, все ее влияние бессильно помочь ему. Нет, не помочь, спасти!

«На днях произойдет мое бракосочетание с ней. Что дальше будет, я не знаю». Милый, дорогой Петр Ильич, как отважно, без рисовки и позы принимает он удары судьбы! Только благороднейший и скромнейший из людей напишет так просто — «что дальше будет, я не знаю». И ведь не забыл о ней даже в трудный час «На симфонии своей я поставлю: «Посвящается моему другу», как Вы того желаете». И каким огромным доверием наградил он ее: «Прошу Вас никому не сообщать о тех обстоятельствах, которые привели меня к женитьбе. Этого, кроме Вас, никто не знает»! Что ж — она не всесильна, но для него она сделает все, что только сможет!

В ответном письме баронесса пожелала Чайковскому счастья, написала, что она рада за него, хотела было приложить к письму некоторую сумму в качестве свадебного подарка, но испугалась, что ее дар может быть воспринят как подачка, и раздумала.

День шестого июля он не запомнил — в памяти всплывали какие-то обрывки. Вот она берет его под руку... вот они стоят перед священником... кольцо с трудом налезает на его отекий палец... ему пришлось коснуться ее губами... толстая краснолицая, неопрятная на вид, мать Антонины

Ивановны утирает слезы... Иосиф, с тоской и недоумением во взоре, говорит ему что-то... брат Анатолий целует новообетенную родственницу... по выходе из церкви жена начинает говорить о каком-то Кудрявцеве, который «душка»... кажется, душа Кудрявцев обещал ей выгодно продать ее лес какому-то купцу из Вильно... тряская карета... Николаевский вокзал...

В купе он наконец-то получил возможность успокоить нервы при помощи коньяка. Жена от радости трещала без умолку. Тем было три — красота ее подвенечного платья, продажа клинского леса, ее отказ генералу, который имел несчастье к ней посвататься. На сменявшие друг друга графины с коньяком, которые приносил услужливый кондуктор, она уже косилась неодобрительно, а когда он закурил, призналась, что не выносит табачного дыма. Странно... когда он был у нее в гостях в тот памятный злосчастный вечер, она ничего не имела против сигар и даже призналась, что когда-то училась «пускать дым колечками».

— Ах, Петичка (при этом «ласковом» обращении его всякий раз передергивало), я так волнуюсь перед встречей с твоим батюшкой! — притворно волновалась она.

Актриса из Антонины Ивановны была никудышная. Впрочем, нет — до свадьбы ей удавалось произвести на будущего мужа нужное впечатление, это сейчас, на положении законной супруги, она позволила себе расслабиться.

Подъезжали к Клину.

— Смотри, милый, — заволновалась Антонина Ивановна, указывая рукой на бесконечную череду деревьев за окном купе, — где-то здесь находится наш лес! Ах, только бы не подвел Кудрявцев, только бы не подвел! Как ты думаешь, может быть стоит выплатить ему авансом часть комиссионных? Он намекал на это дважды.

— Вряд ли это уместно, — заплетающимся языком проговорил он, только что закончивший подсчитывать, во что обошлась ему вся эта затея со свадьбой, и ужаснувшийся итогу.

— Он обещал, что я получу, ой, прости — мы получим четыре тысячи! Признаюсь, мы с маман на такую сумму даже не рассчитывали...

Очередной глоток коньяка осадил волну раздражения.

— Наверное, уже пора спать... — он полез в карман за часами.

— Да, пора, — согласилась Антонина Ивановна. — Но я хотела бы сказать тебе, Петичка, что в первую нашу ночь тебе придется поскукаться...

Петр Ильич поднял на жену недоуменный, слегка помутневший от коньяка взгляд.

— Я не могу позволить, чтобы то, о чем мы с тобой, милый друг, мечтали всю нашу жизнь, произошло здесь, под стук колес, — как ни в чем не бывало, продолжала она. — Но не расстраивайся, любимый, уже следующей ночью я буду твоей...

— О чем вы? — он упорно не желал переходить с ней на «ты». — Я же предупреждал... Мы, кажется, договаривались, что наши отношения...

— Я ценю твою деликатность, — улыбнулась она. — Ты щадил меня и не хотел испугать прежде времени... Но теперь...

Все это время она сидела напротив него, а сейчас встала, явно намереваясь пересесть к нему на колени. Петр Ильич почувствовал это и тоже поспешил подняться.

— Я выйду, а вы пока располагайтесь, — сказал он, дергая тяжелую дверь купе.

«Хорошо, что поезд качает, если кто-то увидит меня, то не поймет, что я пьян», — подумал, покинув купе.

Петр Ильич испытывал слабость к коньяку и винам, но считал совершенно недопустимым появляться на публике в малопрстойном виде. В поезде все смешалось — то ли дом, то ли публичное место, не поймешь. И эта назойливая, совершенно чужая женщина рядом. Зачем она? Кому она нужна?

Чайковский был религиозен и до сегодняшнего дня искренне верил, что во время таинства венчания на супругов снисходит с небес благодать, каковая делает их совместную жизнь если не приятной, то, по крайней мере, терпимой.

Увы, теперь он понимал, что благодать может прийти только изнутри — снаружи никогда не получишь ни капли.

Изнутри приливал гнев, скреблось раздражение, копилась обида на этот жестокий, преисполненный ханжества и лицемерия мир. Мир, толкнувший его на столь опрометчивый шаг... Во имя чего он должен сломать себе жизнь? Кому от этого станет легче.

Иосиф был прав — узнав о предстоящей в скором времени женитьбе друга, он при каждой встрече заводил разговор о том, что только человек, свободный в своих желаниях и поступках, может писать хорошую музыку.

Тогда он в душе улыбался, считал, что Иосиф, как и положено близкому другу, ревнует его к Антонине Ивановне. Теперь же он думал иначе. Господи, если в первый день ему так плохо, то что же будет потом? Хотелось плакать, но плакать в вагоне, где вокруг много чужих людей, было невозможно.

Бог смиловился — когда он вернулся в купе, Антонина Ивановна

уже спала. Оказалось, что во сне она похрапывала, но это уже не имело никакого значения...

В отцовском доме, пока Илья Петрович знакомился с невесткой, Чайковский успел шепнуть Елизавете Михайловне, третьей по счету жене отца, чтобы им с Антониной

Ивановной приготовили по отдельной комнате. Елизавета Михайловна даже и не подумала удивляться или приставать с расспросами — просто кивнула согласно и все.

Отца, разменявшего девятый десяток, женитьба непутевого сына привела в восторг. Ему нравилось все — сын, невестка, наряды невестки, огорчало лишь то, что за неделю Петруша ни разу не сел за фортепиано и совсем не писал музыки.

— Ты, должно быть, так счастлив, что тебе не до музыки? — спросил он перед расставанием.

— Мне не до музыки, — вздыхая, подтвердил сын, но более ничего не добавил. Не стал расстраивать отца.

Состояние, в котором он пребывал, не позволяло не только писать музыку, но и даже просто музицировать. Опера «Евгений Онегин», «перевалившая» за половину в Глебове, застыла на том же месте.

Антонина Ивановна была крайне удивлена, оказавшись размещенной отдельно от мужа, но возражать не возражала, только при каждом удобном случае намекала «милому Петичке», что награда от него никуда не уйдет.

Повезло, что не пришлось делать визитов (все знакомые разъехались — кто на дачи, кто на воды, кто в Европу). Он тоже хотел на воды — доктора советовали Ессентуки, говоря, что тамошняя вода не хуже той, что в Виши, но денег не было. Три тысячи, полученные от милейшей Надежды Филаретовны, давно были потрачены, успели набежать новые долги. Продажа леса обнадеживала, но пока дело не заходило дальше упоминаний об умелом и знающем Кудрявцеве, который должен был устроить все наилучшим образом.

Антонина Ивановна заикнулась о театре, но все театры тоже, к счастью, были закрыты.

Неделя, наполненная страданием и раздражением, тянулась долго, почти как год, но в конце концов наступил день отъезда.

В Москве отношения между супругами остались прежними. Петр Ильич спал на своем диване, спал один и от выяснения отношений уклонялся. Антонина Ивановна недоумевала, нервничала, пыталась вызвать на откровенность Алешу, но неудачно.

Игривые позы, батистовое белье, отделанное кружевами, пылкие

взоры из-под ресниц, весь этот арсенал перезревшей в девичестве соблазнительницы оказался бессильным привлечь внимание Петра Ильича. Увы, он желал одного — чтобы его оставили в покое.

На молодоженов обрушился еще один удар — Кудрявцев, как и опасался в глубине души Петр Ильич, оказался аферистом. Убедившись, что из цепких рук Антонины Ивановны и ее матери ничего не удастся получить задаром, потеряв надежду на щедрые авансы, он исчез, как в воду канул.

Выхода не было, вернее, оставался единственный выход — писать добрейшей Надежде Филаретовне. «Нам не на что жить, не на что нанимать квартиру, не на что мне ехать в Ессентуки, а между тем уехать куда-нибудь далеко, уединиться, успокоиться и одуматься, лечиться и, наконец, работать мне необходимо, для того чтобы отдохнуть от испытанных треволнений. И вот, ввиду всего этого я должен просить Вас увеличить мой долг еще рублей на тысячу. Не буду рассыпаться в извинениях. Мне тяжело писать Вам эти строки, но я делаю это потому, что Вы одни можете протянуть мне руку помощи, Вы одни в состоянии, не объясняя моей просьбы назойливостью и дурными побуждениями, вывести из крайне неприятного для меня положения».

Он продолжал верить в ее доброту и щедрость, и не ошибался...

Пришла пора навестить мать Антонины Ивановны, живущую под Клином. Обоих супругов волновала одна и та же мысль — о предстоящих ночевках на общем ложе. Антонина Ивановна предвкушала, Петр Ильич ужасался...

Ум подсказал ему единственно верный способ — в гостях у тещи он каждый вечер усердно накачивался коньяком до полного бесчувствия, а утром просыпался чуть свет и немедленно вставал с супружеского ложа. Постель, устроенную тещей, назвать иначе было нельзя — несколько пуховых перин, кружева, ленты, свежие цветы у изголовья... Жена суровела, теща недоумевала, они выплескивали чувства в междоусобных ссорах, происходивших по нескольку раз в день на его глазах.

Петра Ильича они не стеснялись — он уже был «свой».

Задыхаясь в их обществе, где все было таким мещанским, таким пошлым, таким непривычным, он прибегал к коньяку целыми днями.

По возвращении в Москву Антонина Ивановна, чье терпение к тому времени окончательно иссякло, решила на «штурм Измаила».

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ «ПЕРВОЕ БЕГСТВО»

При первой же попытке штурма «Измаил» бежал.

Антонина Ивановна плохо знала жизнь и, как следствие, очень часто поступала неправильно. Разумеется, она не могла выбрать подходящего момента для проявления своих бурных чувств к Петичке. Умная женщина, оказавшись на месте Антонины Ивановны, попыталась бы сделать это в тот момент, когда Петр Ильич будет пребывать в хорошем или же, на худой конец, в более-менее сносном настроении. Оно и верно — когда человеку хорошо, он на все вокруг взирает благосклонно.

Антонина Ивановна, полностью оправдывая характеристику, данную ей консерваторским преподавателем, решила осыпать мужа нежностями в тот миг, когда по лицу его пробежали судороги тщетно скрываемого раздражения. Она считала, что суровый муж не только не сможет устоять перед подобным натиском, но и будет благодарен ей за то, что она развеяла и прогнала прочь его тоску.

Подобно страусу, уткнувшему голову в песок, Антонина Ивановна не замечала того, что шло вразрез с ее чаяниями. Она не желала понимать, что ее общество тяготит Петра Ильича.

Он открыто говорил об этом — она притворялась, что не слышит.

Он вел себя соответствующим образом — она обижалась и убеждала себя, что Петичка робкий и целомудренный.

Он часто был резок — она списывала все на пристрастие к спиртному. Ничего — это пройдет, все холостяки много пьют, но семейная жизнь понуждает их к более трезвому образу жизни.

Скажем прямо — Чайковский ошибся. Вместо верного, умного и чуткого друга он получил глупую, ограниченную, вздорную особу. Да вдобавок томившуюся своим чрезмерно затянувшимся воздержанием и принесшую в приданое лес, который невозможно сбыть с рук.

Он готов уже был сбыть с рук и надоевшую ему хуже горькой редьки Антонину Ивановну, да не было возможности.

Сколь часто он вспоминал ту, другую. Совершенно другую, не имевшую ничего общего с этой.

Она пишет: «Получив Ваше письмо, я, как всегда, обрадовалась ему несказанно, но, когда стала читать, у меня сжалось сердце тоскою и беспокойством за Вас, мой милый, славный друг. Зачем же Вы так печальны, так встревожены?»

Она еще не знает всей правды, не представляет пропасти, омута, трясины, в которую он угодил... Господи! Как хороша, как покойна была его жизнь без этой... особы.

Завистники? Сплетни? Порочащие его слухи? Да что ему до них — пусть говорят, что им вздумается, пусть публикуют в газетах свои мерзкие измышления. Народ мудр, он недаром говорит: «Собака лает, ветер носит». Пусть лают... Они далеко...

А она близко! Очень близко! Сердится, обижается, но не спешит покинуть его. Он-то, наивный, надеялся, что она, обидевшись на невнимание, останется у матери и откажется возвращаться с ним в Москву. Тщетно — от этой пиявицы ему не избавиться до смерти... До самой смерти... А что — разве ж не волен он умереть, если жизнь его не жизнь больше, а невыносимая мука? Разве можно осуждать самоубийство, причиной которого стало такое существование?

А страшнее всего то, что в таком угнетенном состоянии он не может творить! Со дня свадьбы опера «Евгений Онегин» не продвинулась ни на шаг, ни на ноту!

Они были дома, в старой квартире Чайковского, которую он все никак не решался сменить на более просторную, несмотря на то что Антонина Ивановна не раз уже заводила об этом разговор. Она не слышала его, он не считал нужным слышать ее...

Солнце уже зашло, наступил предвечерний час.

«Вот и еще один день прошел», — думал он, сидя в кресле у окна.

Ум метался в поисках выхода из создавшегося положения, сердце колотилось в груди, желая поскорее разорваться и положить конец горю, лицо скривилось в гримасе.

И в этот миг Антонина Ивановна бросилась к нему на колени, обхватила его лицо руками и стала обильно слюнявить его поцелуями, больше похожими на укусы.

Вначале он опешил, но, придя в себя, собрал все силы и резким толчком отшвырнул ее от себя.

С ним случился припадок — скрутили судороги. Это было наследственное — от деда по материнской линии. Она не пыталась облегчить его страдания — напротив, металась по комнате и кричала, кричала, кричала:

— Мне двадцать восемь лет! Я еще так молода! У меня чувства! Я женщина!

Он беспомощно хрипел и корчился в кресле, Алеша не слышал его за криками Антонины Ивановны и не мог прийти на помощь.

— Вы сломали мне жизнь, ничтожный человек! Вы выставили меня на посмешище! Зачем вы добивались моей руки, негодяй?! Чтобы тотчас же после венчания отвергнуть меня?!

Алеша прибежал только тогда, когда она сорвалась на визг и застучала ногами в пол:

— И-и-и-и-и!

Петр Ильич обнял его и зарыдал в голос.

Придя в себя, он попросил Алешу удалиться и сухо известил Антонину Ивановну:

— После всего, что произошло, нам лучше расстаться... на время. Вы можете оставаться здесь, потому что завтра же я уеду к сестре в Каменку.

Антонина Ивановна не осмелилась возражать, лишь уточнила:

— Именно здесь, в этой квартире? Или вы позволите мне подыскать что-то поприличнее?

— Делайте, что считаете нужным, — тихо ответил он.

— И еще я хотела бы нанять кухарку.

— Кухарку так кухарку, — сказав эти слова, он прикрыл глаза и тут же, прямо в кресле, заснул.

Спустя несколько дней, в Киеве, он напишет Надежде Филаретовне: «Я уже писал Вам, что женился не по влечению сердца, а по какому-то непостижимому для меня сцеплению обстоятельств, роковым образом приведших меня к альтернативе самой затруднительной. Нужно было или отвернуться от честной девушки, любовь которой я имел неосторожность поощрить, или жениться. Я избрал последнее. Мне казалось, во-первых, что я не премину тотчас же полюбить девушку, искренно мне преданную; во-вторых, я знал, что моя женитьба есть воплощение самой сладостной мечты моего старого отца и других близких и дорогих мне людей.

Но как только церемония совершилась, как только я очутился наедине с своей женой, с сознанием, что теперь наша судьба — жить неразлучно друг с другом, я вдруг почувствовал, что не только она не внушает мне даже простого дружеского чувства, но что она мне ненавистна в полнейшем значении этого слова. Мне показалось, что я или, по крайней мере, лучшая, даже единственно хорошая часть моего я, т. е. музыкальность, погибла безвозвратно. Дальнейшая участь моя представлялась мне каким-то жалким прозябанием и самой несносной, тяжелой комедией. Моя жена передо мной ничем не виновата: она не напрашивалась на брачные узы. Следовательно, дать ей почувствовать, что я не люблю ее, что смотрю на нее как на несносную помеху, было бы жестоко и низко. Остается притворяться. Но притворяться целую жизнь —

величайшая из мук. Уж где тут думать о работе. Я впал в глубокое отчаяние, тем более ужасное, что никого не было, кто бы мог поддержать и ободрить меня. Я стал страстно, жадно желать смерти. Смерть казалась мне единственным исходом, — но о насильственной смерти нечего и думать. Нужно Вам сказать, что я глубоко привязан к некоторым из моих родных, т. е. к сестре, к двум младшим братьям и к отцу. Я знаю, что, решившись на самоубийство и приведши эту мысль в исполнение, я должен поразить смертельным ударом этих родных. Есть мною и других людей, есть несколько дорогих друзей, любовь и дружба которых неразрывно привязывает меня к жизни. Кроме того, я имею слабость (если это можно назвать слабостью) любить жизнь, любить свое дело, любить свои будущие успехи. Наконец, я еще не сказал всего того, что могу и хочу сказать, прежде чем наступит пора переселиться в вечность. Итак, смерть сама еще не берет меня, сам идти за нею я не хочу и не могу, — что ж остается?»

Чем дальше он удалялся от дома, где осталась Антонина Ивановна, тем лучше становилось ему.

Жизнь возвращалась... Чайковский поспешит обрадовать Надежду Филаретовну: «Не знаю, что будет дальше, но теперь я чувствую себя как бы опомнившимся от ужасного, мучительного сна или, лучше, от ужасной, долгой болезни. Как человек, выздоравливающий после горячки, я еще очень слаб, мне трудно связывать мысли, мне очень трудно было написать даже письмо это, но зато какое ощущение сладкого покоя, какое опьяняющее ощущение свободы и одиночества!»

Будущее уже рисовалось ему в светлых тонах. Даже и с Антониной Ивановной. Он пишет в том же письме к Надежде Филаретовне: «Если знание моей организации не обманывает меня, то очень может быть, что, отдохнувши и успокоивши нервы, возвратившись в Москву и попавши в обычный круг деятельности, я совершенно иначе начну смотреть на жену. В сущности, у нее много задатков, могущих составить впоследствии мое счастье. Она меня искренно любит и ничего больше не желает, как чтоб я был покоен и счастлив. Мне очень жаль ее».

Желание писать музыку вернулось к Петру Ильичу. Он был на седьмом небе от счастья.

«Сердце мое полно. Оно жаждет излияния посредством музыки. Кто знает, быть может, я оставлю после себя что-нибудь в самом деле достойное славы первостепенного художника. Я имею дерзость надеяться, что это будет».

Письмо сильно расстроит баронессу фон Мекк: «Но как мне было

больно, как жаль Вас, читая это письмо, я и сказать не могу. Несколько раз слезы застилали мне глаза, я останавливалась и думала в это время: где же справедливость, где найти талисман счастья и что за фатализм такой, что лучшим людям на земле так дурно, так тяжело живется. А впрочем, оно и логично: лучшие люди не могут довольствоваться рутинным, пошлым, так сказать, программным счастьем. А чего бы я не дала за Ваше счастье!» — напишет она в ответ. И поспешит добавить: «Вы единственный человек, который доставляет мне такое глубокое, такое высокое счастье, и я безгранично благодарна Вам за него и могу только желать, чтобы не прекратилось и не изменилось то, что доставляет мне его, потому что такая потеря была бы для меня весьма тяжела».

К великой радости Чайковского, вслед за ним в Каменку, к гостеприимной сестре Сашеньке, приехал брат Модест Ильич. Он скоро уговорил Петра Ильича не ехать ни в какие Ессентуки, а остаться здесь, в Каменке, подольше. Соблазнял охотой, покоем, пугал тем, что из-за русско-турецкой войны на Кавказе опять беспокойно, и добился своего — Чайковский остался в Каменке.

Если он не охотился и не гулял с Модестом — он работал.

«Онегина» пока не трогал — надо было инструментовать Четвертую симфонию, посвященную баронессе фон Мекк.

Любимым его напитком сделался чай.

В Москву он вернулся одиннадцатого сентября — к началу занятий в консерватории.

Баронесса фон Мекк в это время была в Италии.

Он вернулся в Москву полным благих намерений. Незадолго до отъезда из Каменки он написал: «Пишу Вам под грустным впечатлением, дорогая Надежда Филаретовна! Сегодня уехал отсюда младший из двух моих милых братьев; старший уже в Петербурге. Погода делается осенней, поля оголились, и мне уж пора собираться. Жена моя пишет мне, что квартира наша скоро готова. Тяжело мне будет уехать отсюда. После испытанных мной тревожений я так наслаждался здешним покоем. Но я уеду отсюда, во всяком случае, человеком здоровым, набравшимся сил для борьбы с фатумом. А главное, что я не обольщаю себя ложными надеждами. Я знаю, что будут трудные минуты, а потом явится привычка, которая, как говорит Пушкин:

...свыше нам дана, Замена счастию она».

Однако человек предполагает, а жизнь располагает...

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ «ВТОРОЕ БЕГСТВО»

- Вы слышали — Чайковский женился!
- Неужели?
- Да, еще в начале июля!
- Вот так новость! А Николай Григорьевич знал?
- Узнал только позавчера.
- Ну, Петр Ильич, ну, скрытная душа. А кто его счастливая избранница?
- Некто Милюкова, говорят — музыкантша, говорят — училась в консерватории...
- Милюкова... Не родственница ли Николая Павловича?
- Нет, она из других, из э-э-э... захудалых. Я слышал, что она бедна, зарабатывает на жизнь уроками.
- Хоть собой хороша?
- Не без этого. Пойдите, господа, сейчас мы спросим Эдуарда Леонтьевича. Эдуард Леонтьевич! Милости просим к нам!
- Позвольте, но при чем здесь Эдуард Леонтьевич?
- Супруга Петра Ильича его бывшая ученица.
- Эдуард Леонтьевич, что вы нам скажете о жене Петра Ильича? Говорят, что она училась у вас? Какова она?
- Простите, господа, супруга Петра Ильича действительно училась у меня некоторое время, но больше я о ней ничего сказать не могу. Не привык, знаете ли, обсуждать чужих жен, тем более — жен своих коллег.
- Ну, хотя бы скажите — она красива?
- На вкус и цвет товарища нет, господа, — подобно всем потомкам обрусевших немцев, Эдуард Леонтьевич любил вставить в речь пословицу или поговорку.
- Дождитесь завтрашнего вечера, господа! Раз уж Эдуарду Леонтьевичу угодно скрытничать...
- А что завтра вечером?
- Разве вы не знаете — Юргенсоны устраивают вечер в честь Чайковских!

Петр Иванович Юргенсон был человеком интересной судьбы. Он родился в Ревеле, в семье обычного рыбака, а в возрасте четырнадцати лет был отправлен отцом в Петербург, где служил в нескольких нотных магазинах, пока не получил предложение занять место управляющего

музыкальной фирмой Шильдбаха в Москве. Вскоре он открыл собственное дело, а вдобавок стал одним из директоров Московского отделения русского музыкального общества.

С Чайковским он дружил, став для него не только другом, но и издателем, причем Петр Иванович издавал Чайковского, не считаясь с выгодой. Порой изданные партитуры приносили ему одни лишь убытки, причем немалые, но Юргенсон не падал духом — он верил в Чайковского, в его талант, в его гений столь же сильно, как и баронесса фон Мекк.

Порой, подобно ей, Юргенсон выручал Петра Ильича деньгами. Разумеется, Петр Иванович не мог не откликнуться на такое событие, как женитьба Чайковского. Юргенсону казалось, что друг его счастлив, и это было прекрасным поводом для праздника...

Сразу по приезде в Москву счастье исчезло, а вместе с ним исчезли и благие намерения.

Антонина Ивановна вела себя словно замоскворецкая купчиха.

Она сняла новую квартиру, побольше, и всю ее украсила пошлыми статуэтками, тошнотворными занавесками, безвкусными кружевными скатерками... Все было кричаще ярким, призванным не услаждать глаза, а колоть их.

Она вошла в роль хозяйки, обзавелась вульгарной связкой ключей, для чего ей пришлось навесить замки повсюду — на двери, шкафчики, сундуки, из соображений экономии вместо восковых свечей «на каждый день» покупала сальные.

Она наняла кухарку, кухарка оказалась воровкой. Она рассчитала ее со скандалом, недоплатив два рубля. Кухарка отправилась к мировому судье и получила причитающееся с его помощью.

Петр Ильич, узнав об этом, чуть не лишился чувств — его жена судилась с кухаркой из-за двух рублей? О боже!

Надо ли говорить, что и следующая кухарка, нанятая Антониной Ивановной, оказалась воровкой? Антонина Ивановна изводила ее придирами и замечаниями. Кухарка защищалась. Дома невозможно было отдохнуть. Антонина Ивановна попробовала придраться и к Алеше, но Петр Ильич раз и навсегда положил этому конец.

Он думал, что, отдохнув, станет мягче, терпимее и добрее.

Поняв, что жить с женой невозможно, он стал более резок с ней, чем был. Можно даже сказать — груб.

Вечер у Юргенсонов не удался. Присутствующим Антонина Ивановна не понравилась — ее сочли «сухарем в юбке», и вообще малопривлекательной особой. Чайковского поздравляли, но тут же за спиной сочувственно качали

головами. Атмосфера была напряженной. Петр Ильич боялся, что жена вот-вот начнет во всеуслышание рассказывать что-либо неуместное. Еще он боялся, что у него может начаться припадок. Нервы были взвинчены до предела.

Растерянный Петр Иванович несколько раз озабоченно интересовался у него:

— Что случилось? Ты выглядишь, словно приговоренный к казни!

— Н-ничего, — отвечал он. — Все хорошо. Просто я быстро устаю от многолюдья, ты же знаешь.

Чайковские уехали домой самыми первыми, сразу же после ужина.

Юргенсон и не подумал обижаться на такое пренебрежение к его стараниям. Он уже понял, что Чайковский несчастлив в браке.

Не один Юргенсон был столь догадлив...

Прежние сплетни о приватной жизни Чайковского не шли ни в какое сравнение с теми, что немедленно поползли по Москве, да и не по одной только Москве.

Он целые дни проводил вне дома, но, очень часто, уходил гулять ночью, невзирая на погоду. Дышать с Антониной Ивановной одним воздухом было невозможно — она оскверняла, портила решительно все, чего касалась.

Мещанка-

Гадина...

Чудовище-

Других слов для жены он уже не находил. И не хотел искать.

Он хотел утопиться — размышлять об этом получалось, но ют привести в исполнение-

Музыка? Какая музыка? О работе не могло быть и речи — для работы нужен соответствующий настрой, именуемый вдохновением.

Вдохновение он испытал всего один раз — когда во время одной из ссор руки его потянулись к горлу Антонины Ивановны. Ему стало страшно. Не за нее — за себя.

Он написал в Петербург брату Анатолию. Попросил прислать ему телеграмму с вызовом в Петербург.

Просто так он уже не решался уехать — боялся безобразных сцен.

Телеграмма — вызов от дирекции Мариинского театра не заставила себя долго издать. Его приглашали приехать немедленно.

Он немедленно и уехал — вечерним скорым поездом. Чтобы больше никогда не возвращаться к Антонине Ивановне.

Надежда Филаретовна узнает все из первых рук, от Чайковского. Он

напишет ей пространное, довольно-таки откровенное письмо, умолчав лишь о том, что сам просил Анатолия прислать телеграмму с вызовом в Петербург: «Я провел две недели в Москве с своей женой. Эти две недели были рядом самых невыносимых нравственных мук. Я сразу почувствовал, что любить свою жену не могу и что привычка, на силу которой я надеялся, никогда не придет. Я впал в отчаяние. Я искал смерти, мне казалось, что она единственный исход. На меня начали находить минуты безумия, во время которых душа моя наполнялась такою лютой ненавистью к моей несчастной жене, что хотелось задушить ее. Мои занятия консерваторские и домашние стали невозможны. Ум стал заходить за разум. И между тем я не мог никого винить, кроме себя. Жена моя, какая она ни есть, не виновата в том, что я поощрил ее, что я довел положение до необходимости жениться. Во всем виновата моя бесхарактерность, моя слабость, непрактичность, ребячество! В это время я получил телеграмму от брата, что мне нужно быть в Петербурге по поводу возобновления "Вакулы". Не помня себя от счастья хоть на один день уйти из оута лжи, фальши, притворства, в который я попался, поехал я в Петербург. При встрече с братом все то, что я скрывал в глубине души в течение двух бесконечных недель, вышло наружу. Со мной сделалось что-то ужасное, чего я не помню. Когда я стал приходить в себя, то оказалось, что брат успел съездить в Москву, переговорить с женой и с Рубинштейном и уладить так, что он повезет меня за границу, а жена уедет в Одессу, но никто этого последнего знать не будет. Во избежание скандала и сплетней брат согласился с Рубинштейном распустить слух, что я болен, еду за границу, а жена едет вслед за мной».

Действительно, Рубинштейн предоставил Чайковскому годичный отпуск для поправки здоровья. Он же говорил всем, кто интересовался, что Петр Ильич серьезно заболел и уехал лечиться, а жена его намерена в скором времени последовать за ним.

Спасибо Анатолию Ильичу, спасибо Николаю Григорьевичу, они помогли ему обрести свободу. Но — какая свобода без денег? После рассказа о своих приключениях, Чайковский переходит к делу:

«Теперь я очутился здесь среди чудной природы, но в самом ужасном моральном состоянии. Что будет дальше? Очевидно, я не могу возвратиться теперь в Москву. Я не могу никого видеть, я боюсь всех, наконец, я не могу ничем заниматься. Но и ни в какое другое место России я ехать не могу. Я даже боюсь отправиться в Каменку. Кроме семейства сестры, у которой есть уже большая дочь, там живет многочисленное семейство матери ее мужа, его братья, наконец, целая масса служащих при заводе и разных

других лиц. Как они будут смотреть на меня! Что я буду им говорить! Наконец, я не могу теперь говорить ни с кем и ни о чем.

Мне нужно прожить здесь несколько времени, успокоиться самому и заставить немножко позабыть себя.

Мне нужно также устроиться так, чтоб жена моя была обеспечена, и обдумать дальнейшие мои отношения к ней.

Мне нужны опять деньги, и я опять не могу обратиться ни к кому, кроме Вас. Это ужасно, это тяжело до боли и до слез, но я должен решиться на это, должен опять прибегнуть к Вашей неисчерпаемой доброте. Чтобы привезти меня сюда, брат достал небольшую сумму по телеграфу от сестры. Они очень небогатые люди. Опять просить у них невозможно. Между тем нужно было оставить денег жене, сделать разные уплаты и приехать сюда как нарочно в такое время, когда курс наш ужасен. Я надеялся, что Рубинштейн что-нибудь устроит мне в виде единовременного пособия. Надежда оказалась тщетной. Словом, я теперь дотрачиваю последние небольшие средства и в виду не имею ничего, кроме Вас...».

Рассказывая брату о визите к его жене, Анатолий Ильич недоуменно разводил руками.

— Уму непостижимо — она ничего не спросила о тебе, полностью удовлетворившись моим кратким объяснением. Вместо этого она начала перечислять мне особ, которые «имели честь просить ее руки»...

— Не продолжай, — попросил Петр Ильич, лежащий в постели (он был еще очень слаб и почти не вставал). — Если бы ты знал, как надоел мне этот бесконечный список, растущий день ото дня. Начавшись с некоего генерала, он пополнялся чуть ли не ежедневно — племянниками банкиров, известными актерами, профессорами, и даже членами императорской фамилии.

— Я дослушал до «очень богатого киевского сахарозаводчика» и счел нужным откланяться, — рассмеялся Анатолий. — Хоть она очень уговаривала меня отобедать с ней.

— Хотела рассказать о том, какие мерзавцы ее родственники, сколь деспотична ее мать и какие гадкие женщины ее подруги. Других тем для разговоров у нее нет.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»

«Вы желаете, чтоб я нарисовал Вам портрет моей жены. Исполняю это охотно, хотя боюсь, что он будет недостаточно объективен. Рана еще слишком свежа.

Она росту среднего, блондинка, довольно некрасивого сложения, но с лицом, которое обладает тою особым рода красотой, которая называется смазливостью. Глаза у нее красивого цвета, но без выражения; губы слишком тонкие, а поэтому улыбка не из приятных. Цвет лица розовый. Вообще она очень моложава: ей двадцать девять лет, но на вид не более двадцати трех, двадцати четырех. Держится она очень жеманно, и нет ни одного движения, ни одного жеста, которые были бы просты. Во всяком случае, внешность ее скорее благоприятна, чем противоположное. Ни в выражении лица, ни в движениях у нее нет той неуловимой прелести, которая есть отражение внутренней, духовной красоты и которую нельзя приобрести — она дается природой. В моей жене постоянно, всегда видно желание нравиться; эта искусственность очень вредит ей. Но она, тем не менее, принадлежит к разряду хорошеньких женщин, т. е. таких, встречаясь с которыми мужчины останавливают на них свое внимание. До сих пор мне было нетрудно описывать мою жену. Теперь, приступая к изображению ее нравственной и умственной стороны, я встречаю непреодолимое затруднение. Как в голове, так и в сердце у нее абсолютная пустота; поэтому я не в состоянии охарактеризовать ни того, ни другого. Могу только уверить Вас честью, что ни единого раза она не высказала при мне ни единой мысли, ни единого сердечного движения. Она была со мной ласкова — это правда. Но это была особого рода ласковость, состоящая в вечных обниманиях, вечных нежностях, даже в такие минуты, когда я не в состоянии был скрыть от нее моей, может быть, и незаслуженной антипатии, с каждым часом увеличивавшейся. Я чувствовал, что под этими ласками не скрывалось истинное чувство. Это было что-то условное, что-то в ее глазах необходимое, какой-то атрибут супружеской жизни. Она ни единого раза не обнаружила ни малейшего желания узнать, что я делаю, в чем состоят мои занятия, какие мои планы, что я читаю, что люблю в умственной и художественной сфере. Между прочим, всего более меня удивляло следующее обстоятельство. Она говорила мне, что влюблена в

меня четыре года; вместе с тем она очень порядочная музыкантша. Представьте, что при этих двух условиях она не знала ни единой ноты из моих сочинений и только накануне моего бегства спросила меня, что ей купить у Юргенсона из моих фортепианных пьес. Этот факт меня поставил в совершенный тупик. Не менее того я удивлялся, узнав от нее, что она никогда не бывала в концертах и квартетных сеансах Музыкального общества, между тем как она наверное знала, что предмет своей четырехлетней любви она могла всегда там видеть и имела возможность там бывать. Вы спросите, конечно: как же мы проводили время, когда оставались с ней вдвоем? Она очень разговорчива, но весь разговор ее сводился к следующим нескольким предметам. Ежечасно она повторяла мне бесчисленные рассказы о бесчисленных мужчинах, питавших к ней нежные чувства. По большей части, это все были генералы, племянники знаменитых банкиров, известные артисты, даже лица императорской фамилии. Засим, не менее часто она с каким-то неизъяснимым увлечением расписывала мне пороки, жестокие и низкие поступки, отвратительное поведение всех своих родных, с которыми, как оказалось, она на ножах, и со всеми поголовно. Особенно доставалось при этом ее матери. У нее есть две подруги, с которыми и мне пришлось познакомиться. В течение нескольких недель, проведенных мною в сожительстве с женой, каждая из этих подруг беспрестанно падала или снова возносилась во мнении ее. При самом начале нашего знакомства была у ней еще одна подруга, про которую она говорила, что это сестра ее, так она ее любит. Не прошло двух недель, как эта сестра внезапно упала в ее глазах до самой последней степени человеческой негодности. Когда мы были с ней летом в деревне у ее матери, то мне казалось, что отношения их превосходны. Когда я вернулся из Каменки, я узнал, что у них в Москве произошла уже крупная ссора, и вскоре я получил от матери ее письмо, где она мне жаловалась на свою непокорную дочь. Третий предмет ее неутомимой болтливости были рассказы об ее институтской жизни. Им конца не было.

Чтобы дать Вам почувствовать, до чего невозможно мне было добиться от нее хоть единого искреннего душевного движения, я приведу следующий пример. Желая узнать, каковы в ней материнские инстинкты, я спросил ее однажды, любит ли она детей. Я получил в ответ: «Да, когда они умные».

Мое бегство и известие о моей болезни, привезенное ей братом, она приняла с совершенно непостижимым равнодушием и тотчас же, тут же рассказала ему несколько историй о влюблявшихся в нее мужчинах, засим расспросила, что он любит есть, и побежала в кухню хлопотать об обеде.

Ко всему этому справедливость требует, чтоб я прибавил следующее: она всячески старалась угождать мне, она просто пресмыкалась предо мной; она ни единого раза не оспаривала ни одного моего желания, ни одной мысли, хотя бы касавшейся нашего домашнего быта. Она искренно желала внушить мне любовь и расточала мне свои нежности до излишества».

Описанием дело не ограничится. По просьбе баронессы Чайковский вышлет ей фотографию Антонины Ивановны. Баронесса найдет ее совсем такой, как ожидала, и укрепитесь во мнении, что институты не идут впрок женщинам. Ей захочется поддержать Чайковского: «Если Вам кто-нибудь скажет, что она плачет, не смущайтесь этим, Петр Ильич, будьте уверены, что это только для приличия».

В Швейцарии, в Кларане, Чайковский отдыхал на вилле в компании брата Анатолия. Чудесный вид на озеро и Савойские горы вкупе с тишиной и покоем умиротворяли. Петр Ильич блаженствовал — Антонина Ивановна была далеко. Она гостила в Каменке у его сестры Саши.

Саша сделала большую ошибку — встретила с Антониной Ивановной, которую нелегкая занесла в Одессу и пригласила ее к себе, в Каменку.

На первых порах Антонина Ивановна успешно прикидывалась кроткой овечкой и все ее жалели. Саша слала брату гневные письма, брат упорно не желал воссоединяться с женой.

Потом Антонине Ивановне надоест притворяться и она явит себя во всей красе. Дойдет до того, что муж Саши будет писать Чайковскому и просить его убрать жену из Каменки.

Но Чайковскому уже не до жены. Он наслаждается жизнью, много работает и активно переписывается с Надеждой Филаретовной.

Чайковский обещает ей не позже декабря закончить Четвертую симфонию.

Он не желает долго задерживаться в Кларане — его манит Италия. Хочется снова побывать в Риме, освежить впечатления, а затем, по совету Надежды Филаретовны, некоторое время пожить в Неаполе.

«Вы желаете, чтоб я нарисовал Вам портрет моей жены. Исполняю это охотно, хотя боюсь, что он будет недостаточно объективен. Рана еще слишком свежа».

Надежда Филаретовна рада — ее друг вновь стал прежним Петром Ильичом. Теперь с ним можно полноценно общаться. На самые разные темы — музыкальные, литературные, религиозные... То говорят о Рафаэле, то о русско- турецкой войне. С ним ей интересно, он так умен, так непохож на прочих.

Подобно верному другу, баронесса сочувствует, поддерживает, одобряет...

И даже больше того — помогает деньгами. Щедро, по первому требованию. Пардон — по первой просьбе.

Чайковский признателен. Он умеет быть благодарным: «Лучшие минуты моей жизни те, когда я вижу, что музыка моя глубоко западает в сердце тем, кого я люблю, и чье сочувствие для меня дороже славы и успехов в массе публики. Нужно ли мне говорить Вам, что Вы тот человек, которого я люблю всеми силами души, потому что я не встречал в жизни еще ни одной души, которая бы так, как Ваша, была мне близка, родственна, которая бы так чутко отзывалась на всякую мою мысль, всякое биение моего сердца. Ваша дружба сделалась для меня теперь так же необходима, как воздух, и нет ни одной минуты моей жизни, в которой Вы не были бы всегда со мной. Об чем бы я ни думал, мысль моя всегда наталкивается на образ далекого друга, любовь и сочувствие которого сделались для меня краеугольным камнем моего существования. Напрасно Вы предполагаете, что я могу найти что-нибудь странное в тех ласках, которые Вы мне высказываете в письме Вашем. Принимая их от Вас, я только смущаюсь одной мыслью. Мне всегда при этом кажется, что я мало достоин их...»

Письма становятся длиннее и пишутся чаще.

Если раньше он порой не мог придумать, о чем написать Надежде Филаретовне, то сейчас ничего придумывать не надо — успеть бы обсудить все поднятые в переписке темы!

Конечно же, их письменный разговор не может не коснуться любви.

«Петр Ильич, любили ли Вы когда-нибудь? — спросит баронесса фон Мекк. — Мне кажется, что нет. Вы слишком любите музыку для того, чтобы могли полюбить женщину. Я знаю один эпизод любви из Вашей жизни (Дези- ре Арто), но я нахожу, что любовь так называемая платоническая (хотя Платон вовсе не так любил) есть только полулюбовь, любовь воображения, а не сердца, не то чувство, которое входит в плоть и кровь человека, без которого он жить не может».

Дезире Арто... Певица, ученица знаменитой французской певицы Полины Виардо.» Они познакомились в мае 1868 года в Москве, куда Дезире Арто приезжала на гастроли.

Они сдружились.

Они собирались пожениться. Вопреки тому, что все, с обеих сторон, старались отговорить их от этого шага.

«Во-первых, ее мать противиться этому браку, находя, что я слишком

молод для дочери, и, по всей вероятности, боясь, что я заставлю ее жить в России. Во-вторых, мои друзья и в особенности Рубинштейн употребляют самые энергические методы, дабы я не исполнил предполагаемый план женитьбы. Они говорят, что, сделавшись мужем знаменитой певицы, я буду играть весьма жалкую роль мужа моей жены», — писал Петр Ильич отцу в Рождество. Отец тоже не одобрял его намерений.

Виновницей разрыва стала Арто, которая вдруг вышла замуж за певца из своей труппы. Чайковский стойко перенес удар, он даже продолжал бывать на выступлениях Арто, но, по свидетельству очевидцев, не мог смотреть на нее без слез.

Вспомнив былое, Петр Ильич ответит баронессе: «Вы спрашиваете, друг мой, знакома ли мне любовь не платоническая. И да и нет. Если вопрос этот поставить несколько иначе, т. е. спросить, испытал ли я полноту счастья в любви, то отвечу: нет, нет и нет!!! Впрочем, я думаю, что и в музыке моей имеется ответ на вопрос этот. Если же Вы спросите меня, понимаю ли я все могущество, всю неизмеримую силу этого чувства, то отвечу: да, да и дай опять так скажу, что я с любовью пытался неоднократно выразить музыкой мучительность и вместе блаженство любви. Удалось ли мне это, не знаю или, лучше сказать, предоставляю судить другим. Я совершенно не согласен с Вами, что музыка не может передать всеобъемлющих свойств чувства любви. Я думаю совсем наоборот, что только одна музыка и может это сделать».

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ «ВЕНЕЦИЯ»

— По весу это больше похоже на бандероль, нежели на письмо, — сказал Петр Ильич брату, обнаружив на подносе с почтой очередное письмо от Антонины Ивановны.

Письмо было на целых шестнадцать страниц. Читать его не хотелось. Он пробежал глазами первые строки, заглянул в конец и понял, что ничего нового Антонина Ивановна не написала. Обычный ее бред, перемежаемый намеками на то, что назначенного им сторублевого содержания ей недостаточно. Как же ему надоели эти упреки, оправдания, самоуничижения, признания в любви и все такое прочее.

— Работала, голубушка, за сорок пять рублей в месяц, — вслух сказал он, — а теперь тебе ста рублей мало? Да еще и без трудов? Нет уж, вначале дай развод.

— Она тебе его никогда не даст! — Анатолий всегда говорил то, что думал.

— Почему?

— Весь смысл ее жизни в страдании. Показном, истеричном, вычурном! — Анатолий отпил кофе и продолжил: — Отними у нее эту возможность, и она зачахнет, утратит жизненную искру. Как же она может дать тебе развод? Не надейся, Петр.

Братья завтракали на террасе отеля, почти у самой воды. Ноябрь в Венеции все равно что август в России — тепло и солнечно.

— Попутал же бес! — Петр Ильич с досады даже пристукнул кулаком по столу.

Возле стола тут же возник официант.

— Благодарю, нам ничего не нужно, — отпустил официанта Анатолий. — Не сетуй на судьбу, Петр. Зато ты получил полезный опыт.

— Чем же он полезен? — ехидно осведомился Петр Ильич.

— Хотя бы тем, что ты больше не захочешь жениться.

— Я и не смогу это сделать — ты же только что сам сказал, что она никогда не даст мне развода.

— Ну и ладно. Зато тебе не нужно продолжать поиски невесты, свататься и так далее... Работай себе и в ус не дуй. Верно же говорят: «Снявши голову, по волосам не плачут». Кстати — как продвигается работа?

— Хорошо — закончил инструментовку первой картины второго

действия «Онегина». Осталось немного — вписать голоса, расставить знаки...

После завтрака братья направились на осмотр очередных достопримечательностей. В лодке глазели по сторонам и продолжали беседу.

— Венеция — очаровательный город, — поделился мнением Петр Ильич.

— Да, красивый город, — согласился брат.

— Не в красоте дело, — возразил Петр Ильич. — Более всего мне нравится здешняя тишина, отсутствие городской кутерьмы.

— Особенно на площади Святого Марка в послеобеденное время, — подпустил шпильку Анатолий.

Действительно, площадь Святого Марка была многолюдной в любое время.

— Так то — площадь Святого Марка, Толя, — мягко заметил Чайковский. — А я имею в виду город в целом. Ты не представляешь, как приятно мне наше неспешное ежедневное брожение вдоль каналов. Согласись, что Венеция... умиротворяет. Именно — умиротворяет. И думается покойно.

— О чем ты сейчас думаешь? — сразу же забеспокоился Анатолий Ильич. — Разве ты забыл, что врачи запретили тебе...

— Но они не могут запретить мне жить и строить планы на будущее, не так ли. Я думаю о том, куда мне отправиться после твоего отъезда?

— И каковы варианты? — Анатолий облегченно вздохнул.

— Скорее всего, уеду обратно в Кларенс. Но прежде провожу тебя до Вены, тем более что через неделю туда прибудет Алексей.

Анатолий Ильич внимательно посмотрел на брата.

— Скажи-ка мне, Петя, только честно — я могу спокойно оставить тебя?

— Конечно, не волнуйся. Во-первых, со мной будет Алексей, а во-вторых — я чувствую себя превосходно!

— А сон?

— Что — сон? Сплю я прекрасно, кошмары и страхи остались в прошлом, ничто не мешает мне.

— А как у тебя со средствами?

— Благодаря баронессе средства есть! Езжай, Толя, спокойно. К тому же Модест писал, что отец его воспитанника намерен отправить их вдвоем в Европу. Если удастся, он составит мне компанию.

— Как ты думаешь — Модя и впрямь доволен своим положением?

— Да. Он так гордится успехами своего воспитанника. Тот уже начал читать по губам.

— Бедное дитя! Сколько ему — восемь?

— Кажется, восемь.

Лодка мягко ткнулась в причал. Флегматичный доселе гондольер вдруг пронзительно заверещал, завращал глазами, завертел головой, вымогая чаевые и, разумеется, получил их.

— Единственное, что меня бесит в Венеции, — продолжал Петр Ильич, ступая на землю, — так это продавцы вечерних газет. Если гуляешь по площади Святого Марка, то со всех сторон слышишь: «Иль темпо!», «Иль темпо!», «Виттория ди турчи!»<sup>[2]</sup>. И так каждый вечер! Скажи мне — почему местные продавцы газет не кричат о наших действительных победах, а стараются приманить покупателей вымышленными турецкими? Неужели и мирная, красивая Венеция, потерявшая некогда в борьбе с теми же турками свое могущество, несмотря на это дышит свойственной всем западным европейцам ненавистью к России?

— Не иначе, — пожал плечами Анатолий. — Но, справедливости ради, должен заметить тебе, что с точки зрения душевных качеств мне очень импонируют итальянцы. Согласись, что по добродушию, учтивости, готовности им нет равных.

— Ты прав, — согласился Петр Ильич. — Особо выигрышно они смотрятся на фоне швейцарцев. Угрюмых, неласковых, неподатливых на шутки... А сколь музыкальна Венеция! Здесь все пропитано музыкой! Знаешь, порой мне кажется, что не родился я в России, я бы появился на свет в Италии.

Перед отъездом из Венеции он напишет Надежде Филаретовне: «Я очень полюбил Венецию и решил попытаться прожить в ней еще приблизительно месяц после Вены. Понравится, останусь еще, а нет, так уеду куда-нибудь. Вы пишете, что лучше всего вернуться в Россию. Еще бы! Я люблю путешествовать в виде отдыха за границу; это величайшее удовольствие. Но жить можно только в России, и, только живя вне ее, постигаешь всю силу своей любви к нашей милой, несмотря на все ее недостатки, родине».

Но в Москву возвращаться страшно — там ждет его злобная гарпия, на которой он имел глупость жениться...

Она постоянно угрожает ему скандалом и требует. Теперь уже — денег, но иногда забывается и вместе с деньгами хочет получить и его, «милого Петичку».

Дура! Гадкая вздорная дура!

В поезде он то и дело перечитывал одно из последних писем баронессы фон Мекк- «Милый друг мой, запаситесь твердостью и равнодушием ко всем нападкам и упрекам. Ведь Вы же знаете, что Вы тут ни при чем, что эти обвинения есть продукт все той же натуры, того же воспитания, о которые, как об стену, разбиваются справедливость, добросовестность и всякие чувства. Вы должны знать, что такие натуры во всем, что им досадно, первым долгом стараются кого-нибудь обвинить и в этом находят полное утешение и большое удовольствие. Так не отнимайте же его у Вашей жены. Сделайте, как я, мой милый друг: меня не один человек, а сотни людей критикуют, осуждают и обвиняют и лично и вообще, по своим взглядам. Я нисколько не смущаюсь и не волнуюсь этим, не стараюсь ни одним словом и ни одним шагом ни оправдываться, ни разуверять людей, во-первых, потому, что понятия бывают различны, а во-вторых, для того, чтобы не отнимать у людей удовольствия. И я нисколько не в претензии на людей, потому что, осуждая меня, они правы со своей точки зрения, а разница в том, что у нас точки отправления различные».

Нет, рядом с этой женщиной он мог бы быть счастлив! Определенно мог бы!

Надо сказать, что баронесса фон Мекк умела осчастливить и на расстоянии. Хотя бы тем, что не только выслала своему единственному другу в Кларан три тысячи, но и пообещала каждый месяц высылать половину этой суммы.

Баронесса добра, баронесса богата, баронесса щедра. Если попросить у нее десять тысяч — не откажет.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

«Онегин» писался легко. Разумеется, когда было вдохновение.

«Мой призыв к вдохновению никогда почти не бывает тщетным. Таким образом, находясь в нормальном состоянии духа, я могу сказать, что сочиняю всегда, в каждую минуту дня и при всякой обстановке. Иногда это бывает какая-то подготовительная работа, т. е. отделяются подробности голосоведения какого-нибудь перед тем проектированного кусочка, а в другой раз является совершенно новая, самостоятельная музыкальная мысль. Откуда это является — непроницаемая тайна», — писал Петр Ильич Надежде Филаретовне.

Он увлеченно рисовал каракули на обрывках бумаги, если под рукой не было ничего подходящего.

Чайковскому хотелось излить душу в музыку, рассказать о любви посредством нот, выразить в своем творении все то, что не смогла или не захотела дать ему жизнь.

Времена менялись, уже заявил о себе Глинка с его «Иваном Сусаниным» и «Русланом и Людмилой», за ним потянулись последователи, но классической оперой все равно оставалась итальянская. Со всеми положенными атрибутами — от богатых, часто — чрезмерно богатых, декораций до неперенных «сценических эффектов».

Петр Ильич «сценических эффектов» не любил. «Плевать мне на эффекты, — писал он в ответ на критику, — да и что такое эффекты! Если вы находите их, например, в какой-нибудь «Аиде», то я Вас уверяю, что ни за какие богатства в мире я не мог бы теперь написать оперу с подобным сюжетом, ибо мне нужны люди, а не куклы; я охотно примусь за всякую оперу, где, хотя и без сильных и неожиданных эффектов, но существа, подобные мне, испытывают ощущения, мною тоже испытанные и понимаемые».

Его в первую очередь интересовали сюжет и чувства. Он проникал в души своих героев и открывал слушателям самое сокровенное, заветное. Открывал мастерски — не препарируя героев, не изучая их, а живя их жизнью, чувствуя их чувствами, страдая их страданиями, радуясь их радостям.

Сюжеты для своих опер Чайковский выбирал тщательно, придирчиво.

Вот отрывок из письма Чайковского к Танееву, где он как раз касается выбора сюжета:

«Мне нужно, чтоб не было царей, цариц, народных бунтов, битв, маршей — словом, всего того, что составляет атрибут grand-opera. Я ищу интимной, но сильной драмы, основанной на конфликте положений, мною испытанных или виденных, могущих задеть меня за живое. Я не прочь также от фантастического элемента, ибо тут нечем стесняться, и простору фантазии нет границ. Аида так далека от меня, я так мало трогаюсь ее несчастною любовью к Радамесу, которого тоже не могу себе представить, — что моя музыка не будет прочувствована, как того требует всякая хорошая музыка».

«Онегин» выходил каким-то домашним, неторжественным. Чайковский допускал, что его опера может никогда не дожидаться постановки, но разве это соображение могло послужить препятствием для творчества. Он писал оперу «Евгений Онегин», потому что не мог не писать ее. Писал с невыразимым наслаждением.

В конце августа 1877 года Чайковский писал Надежде Филаретовне: «Я вообще не понимаю, чтоб можно было преднамеренно писать для толпы или для избранных; по-моему, нужно писать, повинаясь своему непосредственному влечению, нисколько не думая угодить той или другой части человечества. Я и писал "Онегина", не задаваясь никакими посторонними целями. Но вышло так, что "Онегин" на театре не будет интересен. Поэтому те, для которых первое условие оперы — сценическое движение, не будут удовлетворены ею. Те же, которые способны искать в опере музыкального воспроизведения далеких от трагичности, от театральности, — обыденных, простых, общечеловеческих чувствований, могут (я надеюсь) остаться довольны моей оперой. Словом, она написана искренно, и на эту искренность я возлагаю все мои надежды.

Если я сделал ошибку, выбрав этот сюжет, т. е. если моя опера не войдет в репертуар, то это огорчит меня мало. Нынешнею зимой я имел несколько интересных разговоров с писателем гр. Л. Н. Толстым, которые раскрыли и разъяснили мне многое. Он убедил меня, что тот художник, который работает не по внутреннему побуждению, а с тонким расчетом на эффект, тот, который насилует свой талант с целью понравиться публике и заставляет себя угождать ей, — тот не вполне художник, его труды непрочны, успех их эфемерен. Я совершенно уверовал в эту истину».

Когда Рубинштейну сказали, что Чайковский пишет оперу по мотивам пушкинского «Евгения Онегина», Николай Григорьевич пришел в восторг и сказал:

— Вот славно! Скорее всего, из этого сюжета у Петра Ильича не выйдет оперы, но сценки, сценки могут оказаться весьма милы!

Увы, Рубинштейн считал Чайковского неплохим музыкантом, может быть даже и талантливым, но никак не гениальным.

Опера на сюжет «Евгения Онегина»? Бред какой-то! Да, конечно, Глинка написал оперу «Руслан и Людмила», но это все же сказка! И какая богатая, красивая! А что из себя представляет «Онегин»? Так, затянутая светская сплетня, положенная на рифму!

Чайковский думает иначе. «Ты не поверишь, — пишет он Модесту Ильичу, — как я рад избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений, всякого рода ходульности. Какая бездна поэзии в «Онегине». Я не заблуждаюсь: я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки».

Рискну добавить от себя — не просто заменят недостатки, а превратят их в достоинства!

До Чайковского русские композиторы дважды обращались к «Онегину» как в Москве, так и в Петербурге. Но оба раза инсценировалось не все произведение, а лишь избранные сцены из него — «Письмо Татьяны», «Ссора и дуэль», «Встреча». Чайковский первым использовал «Онегина» целиком.

Эскизы оперы были завершены к зиме 1877 года.

Если прежние свои оперы Чайковский отдавал для исполнения в Императорские театры Москвы и Петербурга, то «Онегина» он решил поставить в консерватории. В консерватории или нигде! Петр Ильич писал Николаю Григорьевичу Рубинштейну: «Постановка же ее (оперы «Евгений Онегин». — А, III.) именно в консерватории есть моя лучшая мечта. Она рассчитана на скромные средства и небольшую сцену». В письме своему хорошему другу Константину Карловичу Альбрехту, хоровому дирижеру, композитору, виолончелисту, преподававшему в Московской консерватории теорию и хоровое пение, а также бывшему хормейстером в первой постановке «Евгения Онегина», Петр Ильич писал из Венеции в декабре 1877 года: «Если мне ждать настоящую Татьяну, настоящего Онегина, идеального Ленского и т. д. — то опера моя, конечно, никогда не пойдет на сцене... Я никогда не отдам этой оперы в Дирекцию театров, прежде чем она не пойдет в консерватории. Я ее писал для консерватории потому, что мне нужна здесь не Большая сцена с ее рутиной, условностью, с ее бездарными режиссерами, бессмысленной, хотя и роскошной постановкой, с ее махальными машинами вместо капельмейстера тд. и тд. Для «Онегина»

мне нужно вот что: 1) певцы средней руки, но хорошо промуштрованные и твердые; 2) певцы, которые вместе с тем будут просто, но хорошо играть; 3) нужна постановка не роскошная, но соответствующая времени очень строго; костюмы должны быть непременно того времени, в которые происходит действие оперы (20-е годы); 4) хоры должны быть не стадом овец, как на императорской сцене, а людьми, принимающими участие в действии оперы; 5) капельмейстер должен быть не машиной, и даже не музыкантом alaНаправник, который гонится только за тем, чтоб там, где сіс, не играли с, а настоящим вождем оркестра... Словом, мне нужны для этой постановки не Кюстер, не Кавелин, не Направник, не Мертен, не Кондратьев, не Дмитриев и тому подобная сволочь, — а мне нужны: Губерт, Альбрехт, Самарин и Рубинштейн — т. е. артисты и притом мои друзья... Я не отдам «Онегина» ни за какие блага ни Петербургской, ни Московской дирекции, и если ей не суждено идти в Консерватории, то она не пойдет нигде...» «Я готов ждать сколько угодно», — писал он в заключение.

Интимная, но сильная драма-

Настоящие живые люди...

Лирические сцены...

Гений творца...

Свобода творчества, обретенная благодаря щедрости баронессы фон Мекк...

Вот, пожалуй, и весь «рецепт» успеха оперы «Евгений Онегин». «Рецепт» превращения музыкального произведения в непревзойденный и поныне образец лирической оперы.

«В Вашей музыке я сливаюсь с Вами воедино, и в этом никто не может соперничать со мною: здесь я владею и люблю», — призналась в одном из писем Надежда Филаретовна.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ «БУМАЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

«Лучшие минуты моей жизни те, когда я вижу, что музыка моя глубоко западает в сердце тем, кого я люблю и чье сочувствие для меня дороже славы и успехов в массе публики. Нужно ли мне говорить Вам, что Вы тот человек, которого я люблю всеми силами души, потому что я не встречал в жизни еще ни одной души, которая бы так, как Ваша, была мне близка, родственна, которая бы так чутко отзывалась на всякую мою мысль, всякое биение моего сердца. Ваша дружба сделалась для меня теперь так же необходима, как воздух, и нет ни одной минуты моей жизни, в которой Вы не были бы всегда со мной. Об чем бы я ни думал, мысль моя всегда наталкивается на образ далекого друга, любовь и сочувствие которого сделались для меня краеугольным камнем моего существования».

Так ответит Чайковский на признание в любви.

И почему-то не согласится перейти в переписке на «ты», как предложила ему Надежда Филаретовна-

Годичный отпуск близился к концу — пора было возвращаться из Швейцарии в Россию.

Родина встретила блудного сына неласково.

Чайковский, немного подуставший от заграницы, предвкушал испытать радость при въезде в Россию. О sanctasimplicitas! <sup>[3]</sup> Первым русским на русской земле, в местечке под названием Волочиск, как и положено, оказался жандарм. Жандарм был пьян в стельку, оттого медлителен, бестолков и груб. Наконец, он убедился, что четыре господина (брат Модест с воспитанником Колей, сам Чайковский и его верный Алексей) действительно дали ему четыре паспорта, а не три, как показалось вначале, и передал их в руки суетливого таможенного чиновника.

Маленький, лысый и очень говорливый, он засыпал Петра Ильича кучей вопросов, целью которых было узнать, не ввозят ли господа в пределы Российской империи какую-нибудь контрабанду. Не удовлетворившись отрицательным ответом, он велел подручным перерыть весь багаж прибывших (извинений принесено не было) и все-таки нашел требуемое — платье, купленное Петром Ильичом по поручению сестры в Париже, куда он выбрался из Кларана на несколько дней, чтобы показаться

докторам.

— За новые платья положено платить пошлину! — обрадовался чиновник.

— Хорошо, хорошо, — согласился Петр Ильич и попросил: — Нельзя ли скорее?

— Извольте обождать.

Проклятый болтун добрую четверть часа мял Сашенькино платье измазанными чернилами пальцами, сверялся с каким-то справочником, подсчитывал на счетах и объявил:

— С вас причитается четырнадцать рублей!

— Помилуйте! — возмутился Петр Ильич. — Я за него в Париже всего-то семьдесят франков платил!

— То в Париже, — оскалил гнилые зубы чиновник.

По вековому обычаю, таможенный служитель выпрашивал мзду. Если сейчас сунуть ему в потную ладонь трешницу, то пошлина снизится до двух рублей, если не улетучится вовсе.

«Лучше уж уплачу в казну, чем стану унижаться перед этим пройдохой», — решил Петр Ильич и с соблюдением всех формальностей уплатил четырнадцать рублей пошлины.

— Зря вы так, — шепнул ему на ухо экономный Алексей, но, поймав взгляд барина, сразу осекся.

Не лучше своих предшественников оказался жандармский капитан.

— С какой целью изволили путешествовать? — спросил он, буквально ощупывая их взглядом.

Чайковский объяснил.

— Где именно изволили побывать? — капитан, преисполненный рвения, даже просмотрел паспорт Чайковского на свет.

Чайковский перечислил.

— Теперь изволите следовать прямо в Москву?

— Какое вам дело до этого? — возмутился Петр Ильич. — Почему вы ко мне придираетесь?

— Я не придираюсь, а исполняю свой долг, — нисколько не обидевшись, пояснил офицер. — Отвечайте — куда изволите следовать?

— В село Каменку Чигиринского уезда Киевской губернии, в гости к сестре, Александре Ильиничне Давыдовой, урожденной Чайковской, — отчеканил Петр Ильич, беря себя в руки. Оказаться вместо поезда в кутузке в качестве задержанного подозрительного лица совсем не хотелось.

Впрочем, грязный поезд, набитый грустными молодыми солдатами, приставучими коммивояжерами и темными личностями, предлагавшими

«расписать со скуки пулю», должно быть, был ничем не лучше той кутузки.

— Петя, бедный мой брат, я так тебе сочувствую!

После близкого знакомства с Антониной Ивановной

Сашенька оставила мысли о том, чтобы примирить ее с братом. Антонина Ивановна была невыносима.

Сашенька не могла понять — как Петя мог допустить такую чудовищную ошибку?

— Чего удивляться — тебе она тоже поначалу понравилась, — улыбнулся брат.

Это был совершенно другой человек, не похожий на того старика, что гостил в Каменке в прошлом году. И ел он сейчас не вяло, а с аппетитом.

— Мне до сих пор стыдно за мои письма, в которых я осуждала тебя, — Сашенька покраснела и опустила глаза. — Прости меня, пожалуйста.

— Забудь о них, — беспечно отмахнулся Петр Ильич, — тем более что ты уже просила прощения. В письмах.

Он, как мог, старался подбодрить себя самого. В Москве его ждала неприятная, чреватая скандалами процедура развода. От госпожи Чайковской можно было ожидать всего самого наихудшего.

Сашенька тоже боялась этого.

— Петя, я прошу, я умоляю тебя, соглашайся на все ее условия, лишь бы вернуть свободу! Это такая...

— Мразь!

Зять, Лев Васильевич, при всей доброте души своей, был резковат — в словах и поступках предпочитал не стесняться. Тем более что по случаю раннего приезда Петра Ильича завтракали они втроем — все остальные обитатели Каменки, включая детей, еще спали, а Модест Ильич и его воспитанник завтракали отдельно, у себя, потому что Коля был очень стеснителен и поначалу дичился незнакомых.

Судьба не баловала сына каторжника, рожденного в ссылке (отец Льва Васильевича, Василий Львович Давыдов, был одним из руководителей движения декабристов на Украине). Он по закону не имел права на наследование и в Каменке, принадлежавшей его старшим братьям, которым посчастливилось появиться на свет до суда над отцом, был управляющим, а не хозяином.

Сашенька укоризненно посмотрела на мужа, но Петр Ильич поддержал его

— Вы, к сожалению, имели возможность понять, что представляет

собой эта особа. Она способна на самые невероятные поступки...

— Представляешь, Петр Ильич, — Чайковский с зятем обращались друг к другу по имени-отчеству, но на «ты», — гостя у нас, она имела наглость...

Сашенька постучала ножом по тарелке, Лев Васильевич на мгновение запнулся, подбирая более мягкое слово, и продолжал:

— „кокетничать со всеми мужчинами, попадавшимися ей на глаза! Она даже мне заявила: «Ах, я так сожалею, что вы несвободны».

— Как мило! — улыбнулся Петр Ильич.

— Ты уже составил план действий, Петя? — Сашеньку, как и его, сильно беспокоил предстоящий развод.

— Этим занимается Анатолий, — ответил Петр Ильич. — Он еще не известил о дате своего приезда?

— Нет пока.

— Странно... Я жду его со дня на день.

— Я одного понять не могу — неужели в первопрестольной стало так плохо с невестами, что приходится жениться на таких вот Антонинах Ивановнах? — вдруг решил спросить Лев Васильевич.

— Чти толку, снявши голову, плакать по волосам? — вопросом на вопрос ответил Петр Ильич, желая увести разговор в сторону, чтобы сохранить хорошее расположение духа.

Лев Васильевич мгновенно понял его настроение и предложил:

— А не устроить ли нам, Петр Ильич, пикничок в Большом лесу по поводу твоего приезда, а?

— Отчего же нет? Непременно — устроить!

Чайковский любил пикники у Давыдовых. Суетливые, безалаберные, но в то же время проникнутые радостью и восторгом. Сборы, недолгая поездка в нескольких больших колясках, запряженных четверками, запахи леса, радостные детские крики, костры... Не признававший физического труда, он с удовольствием собирал сухие ветки для этих костров, возле которых обычный чай из самовара пьянил, словно вино!

— Что — прямо сегодня? — удивилась Сашенька, ценившая в жизни размеренность и порядок. Любые неожиданности, даже приятные, всегда пугали ее.

— Конечно! — ответил муж. — Предупреди прислугу, что обедать мы будем в лесу.

— А вдруг именно в это время приедет Анатолий? — засомневалась Сашенька. — Неудобно получится. Давайте уж дождемся его и тогда устроим хоть три пикника подряд!

После завтрака Чайковский ушел в парк, что начинался сразу от дома. Там был у него любимый грот, в котором он очень любил сидеть. Особенно хорошо было делать это ранним утром. Грот был интересен Петру Ильичу не только своим уединенным расположением, но и тем, что, по рассказам, в нем часто сживал Пушкин, бывший другом семейства Давыдовых.

*«Тебя, Раевша и Орлова, И память Каменки любя...»* — написал Александр Сергеевич в одном из своих стихотворений, обращенных к Василию Львовичу Давыдову.

Пушкин любил бывать в Каменке. Вот что писал он П. Н. Шедичу о ней:

«Я в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников. Время мое протекает между аристократическими обедами и демократическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов. Вы поверите легко, что, преданный мгновению, я мало заботился о толках петербургских».

Чайковского в Каменке московские толки тоже не волновали. Все плохое было где-то там, далеко-далеко. Здесь его окружали свои, родные, любящие люди. И он любил их всех — горячо и нежно.

Порой он жалел, что нельзя всю жизнь провести здесь и отчаянно завидовал сестре.

Сестра, в свою очередь, завидовала ему — он жил в столице, часто бывал в Европе, жизнь его была насыщена событиями, встречами, общением. Каждый день был нов и непохож на другие, не то что ее монотонное провинциальное бытие.

В этот раз Сашенька приготовила ему в Каменке отдельное жилье — чистенькую уютную хатку с видом на речку. Объяснила свое решение многолюдьем Большого дома, но он понял, что ей хотелось разместить брата как можно лучше, как можно приятнее.

Жилище свое он осмотрел сразу по прибытии, еще до завтрака, и нашел его превосходным. Милый садик, удобная мебель, заботливая сестра даже об инструменте позаботилась, выписала специально для него новое фортепиано, которое стояло в маленькой комнатке, рядом со спальней.

— Я старалась, чтобы тебе здесь было хорошо не только отдыхать, но и заниматься.

— Спасибо, — поблагодарил он и даже прослезился на радостях.

Деятельный Алеша от завтрака отказался — сразу же начал

обустроить жилье, где и для него Сашенька предусмотрела отдельную комнату.

«Надо попросить, чтобы ему отнесли поесть, а то так и останется голодным до обеда», — подумал Чайковский.

Пора было покинуть уютное, утопающее в зелени, убежище. Тем более что он совершенно позабыл спросить Сашеньку, нет ли ему писем.

Письмо ждало его в его спальне. Он с нетерпением вскрыл его и не садясь стал читать:

«Меня чрезвычайно радуют успехи Ваших сочинений, дорогой мой друг. Вы говорите мне, что Вы не желаете кланяться для распространения Ваших сочинений за границую.

Да разве я этого могу желать в Вас, которого я так люблю, — сохрани бог. Как артиста, как человека я ставлю Вас неизмеримо выше таких мер, но я желала бы, чтобы Ваши сочинения побольше пускались в ход издателем...»

Как она заботится о нем! Милая, славная Надежда Филаретовна. Что бы он делал, не будь на свете ее?

Перечитав ее письмо, по обыкновению, несколько раз, он сразу же сел писать ответ, но докончить не успел — прибежал любимый племянник Володя с известием о том, что получена телеграмма от Анатолия.

— Ты будешь здесь жить? — семилетний мальчик с интересом разглядывал обстановку.

Фортепиано привело его в восторг.

— Ты будешь здесь работать? А долго ты пробудешь у нас? А почему ты ничего не сочиняешь для детей? — вопросам не было конца.

— В этот раз я непременно напишу что-нибудь для тебя, Бобик, — пообещал Петр Ильич.

Отец и мать называли мальчика «бэби» на английский манер, но он переделал это слово в «боб», и это прозвище навсегда прилипло к нему.

Здесь же, в Каменке, чуть позже Чайковский сочинит «Детский альбом», состоящий из двадцати четырех небольших фортепианных пьес, и посвятит его Володе Давыдову.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ...»

Вечером, после долгого шумного ужина, два брата и сестра устроили в обезлюдевшей гостиной семейный совет в узком кругу. Модест, сославшись на усталость, ушел к себе.

— Я узнал все досконально, — начал Анатолий Ильич. — Само по себе дело не представляет никакой сложности, но требует времени и согласия обеих сторон.

— А сколько времени? — спросил Петр Ильич.

— Три-четыре месяца.

— Дело будет вестись в Москве?

— Нет, лучше в Петербурге. Разницы никакой, где разводиться, а мне удобнее наблюдать за твоим делом, не покидая при этом дома. Твоей жене придется обратиться в Петербургскую духовную консисторию с просьбой расторгнуть ваш брак по... ну, мотивы мы подберем. Я уже отправил ей письмо с окончательными условиями развода и попросил приготовить ответ к моему приезду в Москву в понедельник Фоминой недели.

Возможный мотив был один — супружеская неверность Петра Ильича.

— Ты сам станешь вести дело? — вступила в беседу Сашенька.

— Нет, у меня нет права ходатайствовать по делам, — ответил Анатолий Ильич, — но я уже подыскал толкового специалиста по части бракоразводных дел, который будет действовать под моим руководством, почему, собственно говоря, я и настаиваю на том, чтобы все делалось в Петербурге. Пете придется среди лета съездить туда недели на две.

— Терпеть не могу Петербурга, а летом в особенности! — вырвалось у Петра Ильича.

— Что поделать? — развел руками Анатолий Ильич. — Дело того стоит.

— Я и не спорю...

— А сколько она просит отступного? — встревожилась сестра.

— Десять тысяч, — ответил Петр Ильич.

— Безумная сумма! Как ей не совестно?! Она же знает, что у тебя нет таких средств. Я завтра же поговорю с Левушкой, и мы примем посильное участие...

— Я благодарен вам за все, что вы сделали и продолжаете делать для меня, — перебил ее Петр Ильич. — Но о деньгах, пожалуйста, не беспокойся.

— Откуда же ты их возьмешь? — удивилась Сашенька.

— По протекции известного тебе Юргенсона я получу эту сумму из Русского музыкального общества.

— Слава богу!

Сашенька истово перекрестилась.

Кроме Анатолия, никто не знал о том, что деньги, необходимые для развода, дает Чайковскому баронесса фон Мекк. Так были уговорено между ними по просьбе самой баронессы.

«Вообще, друг мой, прошу Вас верить, что я сделаю все возможное, чтобы имя Ваше ни разу не было упомянуто в течение всей процедуры, и что даже самым близким мне людям не будет раскрыто, кто та невидимая благодетельная рука, помощь которой дает мне свободу и покой», — писал ей Чайковский.

В том же письме он напишет и о Сашеньке: «Бедная сестра моя никак не может утешиться, что она была невольной виной многих очень тяжелых минут, пережитых мною в начале моего пребывания за границей. Она увлеклась своим необычайно добрым сердцем и была ко мне не совсем справедлива. Зато нет меры ее желанию доказать мне теперь, что она сознает свою ошибку. Что касается меня, то я никогда не сердился на нее, ибо знал, что она может ошибаться только по неведению и вследствие незнания людей. Она почти всю жизнь провела в деревне, среди людей самого высокого нравственного достоинства и не может знать, до чего иногда простирается низость и пошлость человеческой души. В сущности же, вся вина этого трагикомического дела лежит на мне исключительно, и если что меня оправдывает, так это то, что я положительно был в состоянии невменяемости».

«Ничего, — в мыслях утешает он себя. — Через какие-то месяцы все закончится. Последствия моего опрометчивого поступка будут исправлены, и все станет, как прежде. Только больше уж я никогда не женюсь».

Ах, Петр Ильич, дорогой Петр Ильич! Вы действительно, никогда больше не женитесь, потому что Антонина Ивановна так и не даст вам развода! Она будет тянуть время, изображать непонимание, говорить, что передумала... Разве не ясно, что Антонина Ивановна, мягко говоря, не в ладах с логикой и здравым смыслом?

Она вдруг решит, что «Петичка хороший», а его родственники злы и ненавидят ее. Александра Ильинична получит от нее глупое пустое письмо,

полное беспочвенных упреков. Сашеньки ли выслушивать подобные упреки после всех тех усилий, которые приложила она для сохранения семьи брата...

Она будет преследовать его всю жизнь. Клянчить денег сверх уговоренного содержания, угрожать «разоблачением», писать глупые слезливые письма. Например, вот такие: «Дорогой мой Петичка! Что с тобой, что ни тебя, никакой весточки от тебя нет? Уж не нездоров ли ты? Приходи, мой хороший, навести меня. Мне, впрочем, было бы очень грустно, если бы ты пришел только для того, чтобы отделаться от меня, сделав бы как будто церемонный визит. Я знаю, что ты меня не любишь, что меня мучает, терзает и не дает покоя никогда. Так ты, по крайней мере, убедись твердо в том, что ты для меня составляешь все в мире. Никакие силы не заставят меня разлюбить тебя, относись же ко мне хотя бы с сожалением. Я принадлежу тебе душой и телом — делай со мной что хочешь... Поговорим хоть как настоящие муж и жена. До сих пор Бог знает, какие у нас были отношения... Целую тебя бесчисленное множество раз, хотя заочно. Я знаю, что ты не очень-то любишь, когда это делается на самом деле... В Знаменской гостинице очень дорого, и потому мы переехали в тот же дом. где и ты, но совершенно нечаянно. Не пугайся же, что я тебя преследую».

Он будет пугаться, скрипеть зубами, впадать в меланхолию. откупаться в очередной раз... До следующего письма, до очередного визита...

Отчаявшись вручит! «милому Петичке» свой «бесценный дар», Антонина Ивановна пустится во все тяжкие, сожительствова с кем придется, и даже родит троих детей. Дети не были ей нужны — все ее «бедные малютки» вскоре после рождения оказывались в Воспитательном доме. Правда, справедливости ради надо заметить, что предварительно она всякий раз предлагала Петру Ильичу усыновить очередного малютку — так она изощренно мстила мужу

Напрасно Петр Ильич верил в силу разумных доводов...

Напрасно он верил в силу денег...

Напрасно надеялся он на то, что оскорбленное достоинство, в конце концов, возьмет верх над прочими соображениями и Антонина Ивановна даст согласие на развод...

На похоронах Чайковского будет присутствовать венок с надписью на ленте: «От боготворившей его жены». Несведущие из числа присутствующих будут удивлены, а сведущие — шокированы...

Она надолго, на целых двадцать четыре года, переживет его. Антонина Ивановна умрет, находясь в изоляции от общества в Доме призрения

душевнобольных императора Александра Третьего, оставив после себя несколько фотографических карточек, сундук со всяким барахлом и личное дело за номером 2980.

Но до этого еще далеко, а пока Петр Ильич искренне верит в то, что еще до конца года он станет свободным человеком. И тогда, быть может, очистившись от налипшей на него скверны, он сможет предстать перед Надеждой Филаретовной...

Порой ему так хочется увидеть ее, глядеть в ее глаза, говорить с ней...

Почему же все женщины не таковы, как она?

Полно — как все женщины могут быть такими, как она? Она не женщина, она — ангел! Ангел, чье покровительство ниспослано ему в награду за все испытанные муки.

Даже здесь, в Каменке, он чувствует ее заботу.

Она зовет его погостить в ее имении, расположенном неподалеку:

«Мне очень жаль, что Вы не видели издали моего Браилова. Знаете, Петр Ильич, у меня есть одно желание, которое я была бы очень рада, если бы Вы исполнили, это, чтобы Вы побывали в том месте, которое я так люблю, в которое я всегда стремлюсь сердцем, в котором есть для меня много дорогих, хотя и тяжелых воспоминаний, — в нашем Браилове. Теперь Вы находитесь так близко от него, что это могло быть маленькою летнею экскурсиею... Если бы Вы нашли возможным, милый друг, прокатиться в Браилов, то было бы хорошо сделать это в конце мая, когда все приводится в порядок к нашему приезду, а я именно хотела бы, чтобы Вы видели все таким, каким бывает при моей жизни там».

И сколь деликатна она, сколь предупредительна! «Но опять-таки я прошу, милый друг, нисколько не церемониться отказать мне в этом, если будете нерасположены; я понимаю, что Вам, может быть, просто лень поехать куда-нибудь».

Гадина называет его «Петичкой»>, а ангел — «мой милый, бесценный мой друг». Они непохожи даже в этом!

Он принимает приглашение и сразу же пишет ответ: «Представьте себе, дорогая моя Надежда Филаретовна, что еще в Кларенсе я мечтал побывать в Вашем Браилове. У меня даже была мысль просить у Вас позволения проездом из-за границы остановиться на несколько дней в Браилове, но я не решился на это, боясь, что это представит какие-нибудь затруднения или вообще что просьба покажется Вам назойливой и неуместной. Судите же теперь, каково было мое удовольствие, когда в дорогом письме Вашем я нашел приглашение побывать на несколько дней в Вашем любимом уголке... Во-первых, для меня будет невыразимо приятно

провести несколько дней в том месте, где Вы проводите лучшее время года и которое так близко Вашему сердцу. Во-вторых, я не знаю большего удовольствия, как провести несколько времени в деревне в совершенном одиночестве... Если позволите, я возьму с собой только Алексея».

И не преминет поделиться радостью: «Какое счастье быть артистом! В грустную эпоху, которую мы теперь переживаем, только искусство одно в состоянии отвлечь внимание от тяжелой действительности. Сидя за фортепиано в своей хатке, я совершенно изолируюсь от всех мучительных вопросов, тяготеющих над нами. Это, может быть, эгоистично, но ведь всякий по-своему служит общему благу, а ведь искусство есть, по-моему, необходимая потребность для человечества. Вне же своей музыкальной сферы я неспособен служить для блага своего ближнего».

Браиловское имение впечатляло. Огромный новый дом с кучей пристроек, роскошные сады, живописная природа вокруг... Добавьте к этому вышколенную прислугу, искусного повара, обширную библиотеку, запах цветущей сирени и вы получите картину подлинного земного рая!

Сразу же по прибытии в Браилов он напишет Надежде Филаретовне: «Усадьба эта превзошла далеко все то, что в моем воображении рисовалось, когда я думал о Браилове. Я в совершенном восторге от дома, красивого и снаружи и столь поместительного, удобного, хорошо устроенного, с его высокими комнатами и большими окнами, с его чудным убранством, с его картинами, статуями, инструментами... После жиденького каменского сада, разбитого на скате, неудобного для ходьбы и бедного старыми деревьями, Ваш сад невыразимо понравился мне. Теперь, нагулявшись, я возвратился домой, пишу Вам письмо это и наслаждаюсь тишиной, свободой и миром».

Чайковский много гуляет, плодотворно работает, пользуется библиотекой, наслаждается покоем и роскошью.

В одном из следующих писем Чайковского баронесса фон Мекк с радостью прочтет: «Что за чудная жизнь! Это какое-то сновидение, какая-то греза. Милая, горячо любимая Надежда Филаретовна, как бесконечно я Вам обязан за все, за все! Возвращение счастья, спокойствия, здоровья все те блага, которыми я теперь пользуюсь, не заглушили и никогда не заглушат во мне воспоминания о том, что было, что так недавно еще было. Напротив, при всякой радости, при всяком ощущении счастья я живо вспоминаю все, что содействовало моему теперешнему благополучию, и благословляю тех, кому я обязан бесконечно, беспредельно. Иногда чувство благодарности говорит во мне с такою силой, что я готов был бы кричать...»

Две недели в Браилове промелькнули незаметно.

За день до прибытия баронессы фон Мекк Чайковский покинул имение.

Пора было ехать в Москву — устраивать долгожданный развод.

Впоследствии, уже вернувшись в Каменку, он напишет: «Вы не можете себе представить, до чего мне приятно быть знакомым с окружающей Вас обстановкой! Это ощущение совершенно новое для меня. Все подробности Браилова поразительно ясно сохранились в моей памяти, и я живо воображаю Вас и в Вашей спальне, и в кабинете, и на различных пунктах сада, и в музыкальной комнате. О, милое, незабвенное Браилово! Кстати. Напишите мне, дорогая моя, нельзя ли будет мне в конце августа хоть дня на три опять побывать там. Мне бы ужасно хотелось этого».

И тут же оговорится: «Но, само собой разумеется, что это будет возможно, если после Вашего отъезда за границу никого не останется в Браилове».

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ «В МОСКВЕ»

В Москве пришлось остановиться в гостинице — не «домой» же к любящей супруге ехать, в самом деле.

Попал он с корабля на бал — прямо на день рождения Николая Григорьевича Рубинштейна. Что поделать — пришлось присутствовать.

Оказывается, его внезапный отъезд был истолкован превратно. Прошел слух, что Чайковский сошел с ума...

Удивленные лица знакомых, разговоры, рукопожатия, объятия и расспросы, расспросы, расспросы...

Анатолий договорился о встрече с секретарем консистории. По желанию секретаря встреча происходила в отдельном кабинете трактира Тестова, что на углу Воскресенской и Театральной площадей.

С первого взгляда секретарь, представившийся Николаем Павловичем Розановым, Петру Ильичу не понравился. Благостный, сильно в годах уже, как и положено по должности — с унылой постной физиономией, он виделся воплощенным святошей. Дополняла облик холеная длинная седая борода. С подобными бородами художники любили изображать ветхозаветных пророков.

«Сейчас примется читать проповедь о преимуществах семейной жизни, — подумал Чайковский. — Зря мы сюда явились».

Он ошибся — Николай Павлович оказался человеком толковым и дельным. Сохраняя на лице постное выражение, верно уже приросшее к нему за годы службы на консисторском поприще, он живо ввел их в курс дела.

— Вначале вам придется создать прецедент для разбирательства, — начал он, не забывая за разговором выпивать и закусывать. — Изобразите супружескую измену.

— Каким образом? — похолодел Петр Ильич.

Собеседник уловил его волнение и поспешил успокоить:

— Достаточно пребывания наедине, без свидетелей, с какой-либо дамой. Желательно вблизи разобранной, словно готовой к соитию, постели. Можно и открытую бутылку шампанского добавить для декору. Шампанское — оно, как известно, причина всех пороков.

Сам консисторский секретарь предпочитал водочку.

— Вас должны застать двое свидетелей, один из которых должен написать вашей супруге письмо с изложением подробностей этой сцены.

Подробности можно и того... приукрасить. Бумага все стерпит.

— А самой ей можно при этом не присутствовать? — уточнил Петр Ильич.

— Не обязательно. Но следующий шаг, — Николай Павлович поднял кверху костлявый палец, словно желая подчеркнуть важность шага, — она должна сделать самолично. Должна подать просьбу к архиерею о расторжении брака.

— И что дальше?

— Пару недель спустя вы с женой получите указ из консистории, с которым должны будете явиться к приходскому священнику и подвергнуться его увещанию. Явиться непременно вдвоем, поодиночке священник вас увещевать не станет, смысл действия теряется. Если же увещевание не возымеет действия, то следует вам дожидаться вызова на суд в консисторию, каковой произойдет после получения из синода разрешения на начатие дела, на суде супругов и свидетелей допросят по всей форме и отпустят...

— И это все? — удивился Петр Ильич.

— О нет, не спешите, — Николай Павлович растянул губы в слабом подобии улыбки. — Затем последует еще один вызов для прочтения показаний и подписи под протоколом, после которого супругов опять вызывают, чтобы объявить им решение.

— А сроки? — спросил Анатолий.

— Сроки неопределенны, — секретарь пошевелил бровями, затем, положив вилку на тарелку, собрал пальцы правой руки в щепоть и потер ими друг о друга.

Братьям все стало ясно и без слов.

— Сколько? — поинтересовался Петр Ильич.

— Если не ошибаюсь — вы намерены просить развода в Петербурге? — уточнил секретарь. — Тамошних расценок я не знаю. Даже предполагать не возьмусь, чтобы ненароком не ввести вас в заблуждение.

— А не лучше ли сделать все это в Москве? — обернулся к брату Петр Ильич. — Не о моих удобствах речь — я- то ради развода и до Камчатки доехать готов. Но согласится ли эта... — он постеснялся присутствия постороннего свидетеля и проглотил бранное слово, готовое сорваться с языка, — согласится ли она несколько раз выезжать в Петербург?

— Надумаете действовать в нашем ведомстве — милости просим, — Розанов продолжил трапезу — половой как раз принес и торжественно водрузил на стол огромного жареного гуся, фаршированного яблоками.

У Тестова это исконное русское блюдо готовили на европейский

манер. Гуся изнутри натирали высушенным и размельченным майораном, а из яблок предварительно удаляли сердцевину.

Петр Ильич вспомнил слова Алеши: «Гусь — птица неудобная. Одному — много, двоим — мало, куда уж лучше курица — по штуке на брата, и все сыты-довольны».

— Давай прежде получим согласие на саму процедуру, — ответил Анатолий.

От Тестова сразу в гостиницу возвращаться не хотелось. Петр Ильич уговорил брата прогуляться по бульварам.

— Тебе, Толя, надо побольше бывать на свежем воздухе, — озабоченно сказал он. — Выглядишь ты, брат, не очень хорошо.

— Устал просто очень. Товарищ заболел, вот приходилось работать в суде за двоих, да еще клиенты докучали, — отмахнулся Анатолий, но от прогулки отказываться не стал.

Пошли бок о бок, любуясь картиной московского лета, выдавшегося в этом году удивительно солнечным.

— Как отвратительно мне все это, — Петр Ильич заговорил о наболевшем.

— Да уж, хорошего мало, — хмыкнул Анатолий Ильич. — Да и связываться с консисторией врагу не пожелаешь. Это подлинный осколок древнего, допетровских времен, сутяжничества. Все делается за взятки, а не по закону, и, тем паче, не по совести. Дурные традиции настолько крепки там, что служители консистории, вплоть до самых высокопоставленных, открыто говорят о том, какая сумма требуется для благоприятного решения того или иного дела

— И все это творится под прикрытием имени Божьего, — вздохнул Петр Ильич.

— Да, с молитвой и благословением, — подтвердил брат. — Я так понимаю, что к супруге своей ты захочешь ехать вдвоем со мной, а не в одиночку...

— Непременно с тобой! — подтвердил Петр Ильич, взмахивая тростью. — Один я с ней встречаться боюсь. Во-первых, не хочу давать нового повода для шантажа, а во-вторых, боюсь выйти из себя и учинить непоправимое. Рассказывал же я тебе, как чуть не задушил ее!

— Рассказывал. Учти, нам придется не только сообщить ей, как она должна действовать, но и... прости за такое слово, выдрессировать ее, чтобы, начиная дело, мы могли бы быть уверенными в том, что не будет осечки. Ведь розданных налево и направо денег нам никто возвращать не будет...

— Как это — выдрессировать? — удивился Петр Ильич.

— Давай-ка, Петя, присядем, а то я что-то утомился, — попросил брат. Они присели на ближайшую свободную скамью, Анатолий отдышался и продолжил:

— Ты хорошо знаешь, что Антонина Ивановна глупа, не всегда понимает, в чем дело, и при этом отличается поразительной вздорностью нрава...

— Мне ли ты это говоришь? — с горечью ответил Петр Ильич.

— Это я так, для начала, У нас нет никакой гарантии, что она поймет с первого раза все правильно, мы не можем быть уверены, что она не передумает, мы не должны позволить, чтобы от какой-то глупой фразы, сказанной ею в консистории, дело разладилось. Значит, нам надо несколько раз, быть может — много раз, встречаться с ней. Растолковывать, что от нее требуется. Убеждаться, что она затвердила урок и переходить к следующему. И все время уговаривать, убеждать, прельщать! Короче говоря — делать все возможное, чтобы она не передумала и не сказала чего-нибудь ненужного! Малейшая неточность в ее исполнении своей роли может повести к очень плачевным результатам, можно даже сказать — к пагубным. Ведь в консистории она должна быть обвинительницей, желающей во что бы то ни стало расторгнуть ваш брак.

— Ты хочешь сказать, что мне придется провести все лето в Москве?! — испугался Петр Ильич. — Среди этой ужасной духоты? Да еще тебя оставить без летнего отпуска? Нет, я не согласен!

— А что ты хочешь предложить? Не забывай, пожалуйста, с кем ты имеешь дело. В нашу прошлую встречу Антонина Ивановна сказала мне, что она очень хочет получить десять тысяч рублей...

— Еще бы!

— А после простить тебя и позволить тебе вернуться к ней.

— О боже! Так и сказала: «позволить вернуться»?

— Именно так, слово в слово.

Некоторое время братья молчали. Первым заговорил Петр Ильич.

— Давай отложим все до осени, а пока... пока я поручу кому-нибудь из приятелей провести предварительные переговоры с ней.

— Кто же возьмется за это? — удивился Анатолий Ильич.

— Да хотя бы Юргенсон! Петр Иванович не откажет мне в таком пустяке. Я объясню ему подробно всю суть дела...

— Заодно и попроси разыскать ее, — перебил Анатолий Ильич. — Прости, Петя, но за всеми этими делами, за всей суетой, я позабыл сказать тебе, что супруга твоя переменила свою квартиру, а на новом месте

дворник сказал, что она уехала на неопределенное время куда-то на дачу. К кому-то из своих знакомых... Возможно, она прослышала о твоём приезде и поспешила скрыться?

— Невелика важность! — обнадежил его Петр Ильич, радуясь возможности вскоре покинуть Москву и вернуться в Каменку. — К осени она вернется, а если и не вернется, то Петр Иванович непременно разыщет ее. Он же чухонец, а чухонцы, скажу я тебе, весьма дотошный и обстоятельный народ.

Добрейший Петр Иванович согласился помочь другу, и Чайковский смог со спокойной душой покинуть Москву.

Он напишет своему бесценному другу: «Вы не можете себе представить, что за ад было это трехдневное пребывание в Москве! Оно показалось мне тремя столетиями. Когда я сел в вагон, то почувствовал такое облегчение, такое блаженство, как будто меня выпустили из смрадной, тесной тюрьмы».

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ «БРАТЬЯ»

«Как хорошо, что у меня есть Модя и Толя», — часто думал Чайковский.

Близнецы были совершенно разными людьми, с разными взглядами на жизнь, разными привычками, но одно у них было общим — любовь к брату Пете.

Когда в 1860 году Сашенька, опекавшая младших братьев и заменившая им мать, вышла замуж за Льва Васильевича Давыдова и уехала с ним в Каменку, близнецы почувствовали себя одинокими. Именно тогда Петя, уже совсем взрослый мужчина, начинающий правовед, обратил внимание на неприкаянных младших братьев и стал заботиться о них. В одном из своих писем к Надежде Филаретовне он напишет: «Без преувеличения можно сказать, что эти два молодых человека составляют по своим нравственным и умственным качествам очень приятное явление. Меня соединяет с ними одна из тех взаимных привязанностей, которая и между братьями встречается редко. Они гораздо моложе меня, т. е. им десятью годами меньше моего. Когда умерла мать, им было четыре года. Сестра была в институте. Старший брат, человек хороший, но не из особенно нежных, не мог им заменить ласковой и любящей матери. Конечно, и я не был для них матерью, но я с самой первой минуты их сиротства хотел быть для них тем, что бывает для детей мать, потому что по опыту знал, какой неизгладимый след оставляет в душе ребенка материнская нежность и материнские ласки. И с тех самых пор между мной и ими образовались такого рода отношения, что как я люблю их больше самого себя и готов дня них на всякую жертву, так и они беспредельно мне преданы».

А вот как вспоминал тот знаменательный день Модест Ильич: «Ко времени замужества нашей сестры нам было по десять лет. Она любима была нами нежно, и поэтому, когда уехала, мы оба почувствовали себя очень осиротевшими. К этому горю присоединилось и то, что нас в это время отдали в домашнюю школу некоего А., где, вследствие нашей отсталости, учиться было просто невозможно. Мы ходили туда утром и часам к трем дня возвращались домой, где были предоставлены сами себе до ночи. Я живо помню эти длинные тоскливые вечера, когда отец сидит у себя в кабинете, заваленный работой по реформе Технологического института, брат Петр где-нибудь порхает вне дома, тетюшка Елизавета

Андреевна с Амалией или в гостях, или заняты своими делами, а мы с Анатолием шлемся, не зная, за что приняться... Но однажды в один из таких тусклых вечеров вдруг все меняется: обожаемый, необыкновенный старший брат Петя не прошел мимо, а остановился и спросил: «Вам скучно? Хотите провести вечер со мной?» И до сих пор брат Анатолий и я храним в памяти мельчайшую подробность этого вечера, составившую новую эру нашего существования, потому что с него началось наше тройное единение, прерванное только смертью».

Баронесса фон Мекк тут же откликнется: «Как мила и трогательна Ваша взаимная привязанность с двумя юношами-близнецами, какое золотое сердце надо иметь тем, которые способны на такие чувства. Какими славными мне представляются Ваши любимчики Анатолий и Модест».

Оба брата, и Модест, и Анатолий, окончили то же Училище правоведения, что и Петр Ильич, но далее по юридической стезе пошел один только Анатолий. Свою карьеру он начал прокурором в Киеве, затем продолжил в Минске, Петербурге, Москве, в Тифлисе...

Начальство ценило его как знающего и прилежного юриста, ввиду чего повышения по службе шли одно за другим. Позже он станет вице-губернатором Тифлиса, затем Ревеля, позже — Нижнего Новгорода... И везде ухитрится сохранить свою репутацию незапятнанной, что на подобном поприще очень сложно.

Анатолий не чужд искусства — он страстный театрал, непременный участник домашних спектаклей и неплохой музыкант. Любит играть на скрипке, петь романсы, особенно те, музыку к которым написал брат Петя.

Больше всего он любил вот этот, написанный Петром Ильичом на плещеевское «Молчание»:

Ни слова, о, друг мой, ни вздоха...  
Мы будем с тобой молчаливы...  
Ведь молча над камнем могильным  
Склоняются грустные ивы...  
И только, склонившись, читают,  
Как я, в твоём взоре усталом,  
Что были дни ясного счастья,  
Что этого счастья — не стало!

Петру Ильичу романс тоже был по душе, но, когда его пел Анатолий,

на душе отчего-то становилось так тяжело, что впору было рыдать.

— Зарыл ты свой талант в землю. Толя! — утирая наворачнувшиеся на глаза слезы, говорил он.

— Ничего, — смеялся Анатолий, — должен же в таком большом семействе, как наше, быть хоть один действительный юрист, чтобы было к кому за помощью обращаться!

Смеялся он хорошо, смотреть было приятно и плакать уже не хотелось.

И впрямь — без своего родного юриста жить было бы тяжело. Сам Петр Ильич давно за ненадобностью выбросил из головы эту скучную премудрость — разве могла юриспруденция (одно название-то какво — словно цыган кнутом щелкает) сравниться с божественным чудом, имя которому музыка.

Модест же никогда юристом быть не собирался. В Училище правоведения его отдали чуть ли не насильно, из тех соображений, чтобы оба брата учились вместе — всё легче будет. Модест с младых, как говорится, ногтей тяготел к искусству, прежде всего к театру и даже собирался учиться на актера, но пришлось, увы, вместо этого стать скучным правоведом. Впрочем, Модест им пробыл недолго — недолго поработал в Симбирске, а затем в Киеве и Петербурге и оставил юридическую деятельность. Правда, в актеры идти уже передумал — пошел по литературной стезе. Кстати говоря, Петр Ильич первым заметил литературное дарование брата.

Модест начал с газетных рецензий, а затем отдался сочинению пьес, которые с удовольствием ставили разные театры. Ему неплохо удавались либретто, именно Модест напишет либретто для опер Петра Ильича «Пиковая дама» и «Иоланта».

Вдобавок он, свободно владея шестью языками, успешно занимался переводами, а также проявил себя и как одаренный педагог. На протяжении одного года он изучал в Европе основы сурдопедагогики, чтобы заниматься со своим глухонемым воспитанником Колей Конради.

«Модест — натура необыкновенно богато одаренная, но без определенной склонности к какой-либо одной сфере деятельности», — напишет о нем Чайковский баронессе фон Мекк.

А вот как он сравнивает своих братьев. Разумеется, тоже в письме к баронессе фон Мекк

«Между моими братьями Анатолием и Модестом только одна общая черта, — это бесконечная доброта сердца и любвеобилие его. Во всем остальном эти близнецы совершенные антиподы. Анатолий очень

общителен, очень любит общество и имеет в нем большой успех. Он любит искусство, как дилетант; оно не составляет для него необходимого элемента в жизни. Он усердно служит и самым добросовестным и честным образом добивается самостоятельного положения на служебном поприще. Он не обладает поразительным красноречием, ни вообще какую-либо исключительную блестящую способностью. Всего этого у него в меру. В нем есть какое-то пленительное равновесие способностей и качеств, вследствие которого обществом его дорожат одинаково и серьезные умы, и ученые люди, и артисты, и умные женщины, и просто пустые светские дамы. Я не знаю ни одного человека, который, подобно ему, пользовался бы такой искренней общей любовью людей всех сословий, положений, характеров. Он очень нервен, очень чувствителен и, как я уже сказал выше, добр до бесконечности.

Модест умнее Анатолия. Я даже имею основание утвердительно сказать, что он очень умен. Он мало общителен и склонен, подобно Вам и мне, удаляться от людей. Натура его артистическая. Со службой он никогда не мог примириться и до такой степени пренебрегал ею, что внушал мне серьезное беспокойство. Мне казалось тогда, что это один из многочисленных представителей типа неудавшегося человека, в котором дремлют какие-то силы и не знают, как им проявиться. Совершенно случайно он попал в педагоги, и только тут он обнаружил все свои чудные свойства...»

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ «НЕКОТОРОЕ ПОДОБИЕ РАЗВОДА»

«Вы говорите в письме Вашем, что интересуетесь видеть мои эскизы. Не примете ли Вы от меня полное последование черновых рукописей моей оперы «Евгений Онегин»? Так как к осени уже будет готов печатный клавираусцуг ее, то Вам, может быть, интересно будет сличать эскизы с отделанным и уже вполне готовым большим сочинением? Если да, то тотчас по Вашем возвращении в Москву я Вам пришлю эти рукописи. Я Вам предлагаю именно «Онегина», ибо ни одного сочинения я не писал с такой легкостью, как эту оперу, и рукопись можно иногда разобрать совершенно свободно; в ней мало помарок».

Чем еще можно отблагодарить дорогую Надежду Филаретовну за всю ее безмерную доброту?

Они по-прежнему старательно избегают встреч, прежде, чем Чайковский вновь посетит Браилов, распорядок взаимных перемещений будет тщательно согласован.

Баронесса фон Мекк счастлива получить такой бесценный сувенир, такой уникальный дар, как черновик оперы, написанный Его рукой!

Разве возможно не отблагодарить? Чисто по-дружески?

Чем же?

Ответ подскажет Чайковский в следующем письме, написанном четырьмя днями позже.

Подробно расскажет Надежде Филаретовне, что получил «длинное послание» от Антонины Ивановны, которую именует «известной особой».

Как и всегда послание состоит из «оскорбительных дерзостей» и «совершенно непостижимых бессмыслиц». Она предлагает мужу, чтобы он приехал к ней в Москву и вместе с ней отправился бы к каким-то «людям» для того, чтобы эти люди их судили и развели.

Не надо думать, что Антонина Ивановна уже готова подавать жалобу в консисторию. Нет, что вы! Между мифическими «людьми» и духовной канцелярией нет ничего общего.!

Да и разводиться она не хочет — берется доказать этим самым «людям», что она ни в чем не виновата.

Все разъяснения пошли прахом.

Петр Ильич впервые понял, что, скорее всего, развода он не получит

никогда — только зря будет тратить силы, нервы и деньги.

Отныне он не будет читать ее писем — даже в руки их брать ему противно!

Как хорошо, что есть на свете добрейший Петр Иванович Юргенсон, взявший на себя денежные расчеты с Антониной Ивановной.

Денежные расчеты — вот тот кнут, тот пряник, действуя которым можно удержать Антонину Ивановну как можно дальше от себя (лучше всего — в другом городе) и заставить ее молчать!

«Никаких поблажек, никаких уступок быть не может, — решает Чайковский. — Теперь будет так — сторублевую свою пенсию она будет получать лишь в том случае, если будет вести себя так, как бы ее нет вовсе».

И подписку! Непременно — взять с нее подписку, чтобы назавтра она не вздумала отказываться от своих слов!

Но — бестолковая жена успела наделать долгов. Довольно-таки солидных.

Теперь она ведет речь о продаже все того же, доставшегося ей по наследству от отца, леса под Клином.

Чайковский прекрасно понимает — чем это ему грозит. Как только лес будет продан ради уплаты долгов, он станет не только «погубителем несчастной женщины», но и «разорителем». Новые обвинения, новые сплетни, новые слухи...

— Ах, разве вы не слышали? Чайковский-то не просто бросил свою жену вскоре после свадьбы — он успел до того лишить несчастную последних крох наследственного состояния!

И никого уже не будет интересовать, когда, кем и чего ради был продан этот проклятый лес, с которым Антонина Ивановна, по меткому народному выражению, «носится как дура с писаной торбой».

Да она и есть дура!

Умная бы давно продала ему свободу за десять тысяч.

Приняв решение, Чайковский не ищет — где бы занять денег. Он пишет доброй волшебнице, своему единственному другу:

«Чтобы удовлетворить ее (Антонину Ивановну. — А. Ш.), я попрошу Вас или оставить мне в Браилове (если это возможно), или прислать мне две тысячи пятьсот рублей...».

Относительно рукописи баронесса фон Мекк напишет ему: «Что касается Вашего предложения, дорогой мой, пожертвовать мне рукопись «Евгения Онегина», то оно мне чрезвычайно приятно, и я, конечно, не откажусь от него, только извините меня, если я скажу Вам откровенно свой

взгляд и свое желание по этому предмету. Вы зарабатываете Ваш хлеб трудом, следовательно, было бы стыдно и совесть запрещает мне пользоваться этим трудом даром. Поэтому, мой милый, хороший, если Вы согласны уступить мне эту рукопись за пятьсот рублей, то я буду очень рада ее получить...»

О суммах денег, уже выплаченных ею Петру Ильичу, в порядке дружеской помощи, деликатная баронесса фон Мекк не вспомнит. Она еще добавит: «...но прошу Вас убедительно без всякой церемонии сказать мне, соответствует ли эта сумма приобретению».

С одним из следующих писем она отправит Чайковскому требуемые две с половиной тысячи, не забыв приложить к ним и «обыкновенную» сумму — Надежда Филаретовна еще с прошлого года платит Петру Ильичу пятьсот рублей ежемесячного пособия.

По тем временам эта сумма составляла больше трети годового полковничьего жалования...

Или жалованье университетского профессора за два месяца...

Пуд хлеба в розницу тогда стоил меньше рубля...

И далеко не каждый гимназический учитель мог похвастаться тем, что зарабатывает столько за год...

А какой-нибудь писец в захолустье жил с семьей на пятнадцать рублей в месяц...

От вознаграждения за рукопись «Евгения Онегина» Чайковский откажется: «Друг мой! Вы предлагаете мне вознаграждение за рукопись «Онегина», но неужели все, что я для Вас сделал бы или дал бы Вам, уже не сторицей вознаграждено всем, чем я обязан Вам? Рукопись эта, впрочем, и не имеет никакой цены. Еще в первый раз в жизни мне приходится встретить в Вас человека, интересующегося моей черновой работой. Я далеко еще не так знаменит, чтобы такие автографы мои имели какую-нибудь ценность. Каким же образом я буду ожидать за это вознаграждения, да еще с Вас!»

«Нет, я до сих пор поступал неправильно, — думал Петр Ильич о своем неудавшемся разводе. — Я просил ее, а надобно было сделать наоборот — чтобы она просила меня. Итак, решено: уплачиваю ее долги, при каждом неверном шаге лишаю ее части ежемесячных выплат, письма ее возвращаю нераспечатанными. Долго так она не выдержит — рано или поздно захочет вновь замуж и сама, сама начнет молить меня о разводе! Тогда-то я без помех разведусь с ней!»

Всякое упоминание об Антонине Ивановне было больно и неприятно ему.

А стоило только подумать о Надежде Филаретовне, как следом из глубин памяти всплывало:

Бурной жизнью утомленный,  
Равнодушно бури жду:  
Может быть, еще спасенный,  
Снова пристань я найду...  
Но, предчувствуя разлуку,  
Неизбежный, грозный час,  
Сжать твою, мой ангел, руку  
Я спешу в последний раз.<sup>[4]</sup>

Она преисполнена сочувствия, тревоги, понимания: «Как меня смущает и волнует то, что Вас так тиранит эта ужасная особа; как бы я хотела, чтобы нашлось средство Вам избавиться от этой связи, а то Вы никогда не будете гарантированы от ее приставаний и притязаний».

Времена тогда были своеобразные, можно даже сказать — уникальные были времена. Даже очень богатые люди (а баронесса фон Мекк была очень богата) не рассматривали физическое устранение как метод избавления от ненужных проблем. Как своих, так и своих близких.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

### «МОСКОВСКИЕ ДНИ»

Поселился Петр Ильич на Знаменке, в доме Сергеева, что напротив Александровского училища. Номер квартиры был тринадцатым, но это его не смутило — стараниями Алексея было устроено милое уютное гнездышко, да и консерватория была недалеко.

У него было «в запасе» предложение Надежды Филаретовны, которая предоставляла в его распоряжение свой дом на Рождественском бульваре.

Дом соответствовал размаху фон Мекков — пятьдесят две комнаты, рояли, органы, картины, фарфор и все такое прочее.

То, что было хорошо для уединенного Брайлова, не слишком годилось для Москвы. Поселиться в доме на Рождественском бульваре и не дать пищу новым слухам о себе было бы невозможно...

Сказать, что он снимает его?

Да кто в это поверит? Его вечное безденежье давно уж стало притчей во языцех.

Он все же решится однажды посетить этот самый дом.

Он вернется к себе, на Знаменку, потребует коньяку и всю ночь проведет... нет, не за написанием музыки — в размышлениях.

Наступила пора принятия ответственного решения, от которого зависит вся его дальнейшая жизнь. Быть или не быть профессором консерватории?

Он не любит преподавать, ученики лишь раздражают его. Бог не дал ему педагогического дарования, подобного тому, что получил Модест. Есть, конечно, Танеев, но Танеев никогда не воспринимался как ученик, скорее — как младший товарищ-единомышленник. Кстати, Танеев может его заменить в консерватории. Определенно — может.

Ему тяжело с Рубинштейном. Несомненно, в Николае Григорьевиче есть много хорошего, но на директорском посту он стал истинным самодуром. Подмял под себя, подобно медведю, всю консерваторию и поступает исключительно по своему усмотрению.

Он препятствует карьерам талантливых пианистов, видя в них соперников.

Он покровительствует подхалимам и лизоблюдам.

Он проявляет чрезмерное внимание к хорошеньким консерваторкам,

впрочем, это уже его приватность.

Он порой поднимает руку на учеников.

Он знаком с Надеждой Филаретовной и имел дерзость говорить ей, что Чайковскому нельзя давать много денег, чтобы он не разленился и не бросил писать музыку.

Но в то же время Рубинштейн дирижирует на концертах Русского музыкального общества в Париже, представляя публике в числе прочих и произведения Чайковского. Второй фортепьянный концерт, «Буря», серенада и вальс для скрипки вызывают восторг у слушателей. Желая того или нет, Николай Григорьевич закладывает фундамент мировой славы талантливого композитора!

Слава — это хорошо. Слава — это общественное признание. Слава — это грандиозный стимул к творчеству.

Ах, если бы не консерватория...

За год своего «отпуска» он написал так много: «Онегина», симфонию, большую сонату, концерт для скрипки, литургию святого Иоанна Златоуста, «Воспоминания дорогого места», пьесы для детского альбома, несколько романсов, «Скобелев-марш»!

Вдалеке от Москвы работалось так славно, так продуктивно!

Консерватория в мыслях Петра Ильича стала чем-то вроде темницы. Он чувствует, он знает, что после годичного отсутствия ему трудно будет вернуться к прежней жизни профессора консерватории. Бесцельная трата времени — вот что такое эта преподавательская деятельность. Она заставляет его отрывать от творчества, работать непостоянно, урывками и не дает взамен ничего хорошего.

Да еще эти вечные унижения, которым подвергает его Рубинштейн.

Да еще эта необходимость ежедневно пребывать в обществе людей, большинство из которых нечутки, неделикатны, склонны к вмешательству в его приватную жизнь.

Прослышав о приезде Чайковского, являются с визитом знакомые. Многие из них знакомы с ним шапочно. Они хотят увидеть собственными глазами того, о ком ходило столько слухов, чтобы сделать на основе наблюдений вывод о его сумасшествии.

Визитеры несносны — они отнимают кучу времени.

И все непременно просят «сыграть что-либо новое». Нашли тапера.

Незванные гости ужасно раздражают и злят своими нудными посещениями. От людской пошлости есть только одно спасение — бегство. Он дает себе клятву впредь в подобных случаях быть грубым, дерзким и прямо просить оставить его в покое и наконец-то осознает всю цену той

свободы, которой имел счастье наслаждаться в течение последнего года.

А баронесса фон Мекк зовет его во Флоренцию...

Нет, выход один — прочь из Москвы, прочь из консерватории... В Европу, в Каменку, в Браилов... Туда, где все свои. Туда, куда заказан путь его сумасшедшей жене, этому живому памятнику его минутного безумия.

«Я приехал в Москву с отвращением, с тоской и с неудержимым, непобедимым желанием отсюда вырваться на свободу, — напишет он баронессе фон Мекк. — Я хочу начать хлопоты и предпринять меры к мирному, тихому, но вечному разрыву с консерваторией, к которой не питаю ничего, кроме того чувства, какое узник питает к своей темнице. Все это очень нелепо, очень легкомысленно. Зачем было обещаться приехать и занять прежнее положение? Зачем было не обдумать раньше, что после всего случившегося я не могу жить в Москве, не могу ни одного часа чувствовать себя здесь иначе, как несчастным? И тем не менее я решился. Но прежде чем я начну предпринимать меры, мне нужно знать, что Вы на это скажете, что посоветуете».

«Я буду чрезвычайно рада, если Вы оставите консерваторию, — ответит ему баронесса фон Мекк, — потому что я давно уже нахожу величайшим абсурдом, чтобы Вы с Вашим умом, развитием, образованием, талантом находились в зависимости от грубого произвола и деспотизма человека, во всех отношениях низшего от Вас; это противостоит естеству, нелогично. Я не позволяла себе давать Вам никаких советов по предмету Ваших занятий в консерватории, но искренно желаю, чтобы Вы бросили место, соединенное с подчинением нашему общему другу. Что касается пользы, которую Вы принесли бы грядущим поколениям Вашим преподаванием, то я нахожу, что Вы гораздо больше приносите им ее Вашими сочинениями, а не зачеркиваниями квинт и октав. Для этого есть много таких, которые ни для чего другого не годны, Вы же оставляете в искусстве такие памятники, которые будут служить наилучшим руководством, образцом для учащегося юношества».

Решение выстрадано, решение принято, решение одобрено, пора ознакомить с ним директора консерватории.

Николай Григорьевич как раз вернулся со Всемирной Парижской выставки. Газеты, русские и европейские, много пишут о нем и о его парижских концертах. Ругают, недоумевают, удивляются, но все чаще хвалят.

Чайковскому тоже достается хорошая порция славы. Оказывается, не Глинкой единым жива Россия.

Рубинштейн не возражает против ухода Чайковского из консерватории

— он все понимает, он всегда все понимает и в глубине души всем сочувствует, хотя и не спешит признаваться в этом. Петр Ильич прав, в самом деле тому Чайковскому, который сейчас сидит перед ним, нечего делать в стенах консерватории.

Чайковский уже «перерос» свой профессорский статус.

Рубинштейна полностью устраивает предложенная Чайковским кандидатура Танеева. Пока что, дабы не давать повода к новым сплетням, Рубинштейн приглашает его в качестве фортепианного преподавателя, с тем, чтобы по отъезде Чайковского он принял его классы. Инструментовку вместо Чайковского взялся вести сам Николай Григорьевич.

Все устраивается наилучшим образом. Петр Ильич готовится к отъезду. За недолгое время он успел порядком устать от Москвы. «Не скрою от Вас, что я постоянно должен был прибегать к вину, чтобы поддерживать себя», — признавался он Надежде Филаретовне.

Прощальный обед в день отъезда в узком кругу — с Рубинштейном, Альбрехтом, Юргенсоном, Кашкиным и Танеевым. Присутствующие кажутся очень опечаленными, и это трогает Петра Ильича.

Он уезжает примиренный с Москвою. «Я с благодарностью буду помнить, что здесь развернулись мои артистические силы, что здесь судьба столкнула меня с человеком, которому суждено было сделаться моим добрым гением».

Наконец-то Москва осталась позади. «Итак, я человек свободный. Сознание этой свободы доставляет неизъяснимое наслаждение. И как хорошо, что к наслаждению этому не примешивается никакого неприятного чувства, никакой неловкости. Совесть моя совершенно покойна. Я уезжаю в полнейшей уверенности, что консерватория нисколько не пострадает от моего отсутствия», — напишет он баронессе фон Мекк.

«Как я рада, мой милый, бесценный друг, что Вы уже освободились от татарского ига нашего почтенного и несомненно заслуженного друга, но от которого все-таки лучше быть подальше и избегать личных с ним сношений. Я также рада, что он не обзартился на Ваш отказ, потому что худой мир лучше доброй ссоры», — поспешит разделить его радость Надежда Филаретовна.

Чайковский останавливается в Петербурге. Селится на одной лестнице с братом Анатолием в небольших меблированных апартаментах, ожидая пока Алеша сдаст его московскую квартиру и выправит себе заграничный паспорт. Алексей близок к призывному возрасту, поэтому с паспортом могут возникнуть проблемы, но в конечном итоге все устраивается наилучшим образом. В Петербурге Петру Ильичу досаждают

родственники. «У меня родство огромное, и все мои родные живут в Петербурге, — жаловался он Надежде Филаретовне. — Это очень тяжелое иго. Несмотря на узы крови, люди эти по большей части мне совершенно чужды, и сообщество их, кроме тягостной необходимости казаться довольным, в то время как никакого удовольствия не испытываешь, мне ничего не приносит. Я завален просьбами и приглашениями этих родных. И так как весьма неприятно огорчать людей без причины, то поневоле приходится ежедневно платить тяжелую дань скуке. Всего невыносимее то, что все они считают долгом говорить со мной о музыке и просить меня что-нибудь новенького сыграть».

Баронесса фон Мекк прекрасно его понимает. Она ответит, что родни у нее «очень много, но я с ними не схожусь, даже с родною сестрою, которую я очень люблю, но понятия, взгляды, отношения к людям и жизни у нас совсем различны, и мы не видимся».

Сплетники не преминули «сделать выводы» из приезда Чайковского в Петербург. Прошел слух, что он оставил Москву, чтобы добиваться профессорства в Петербурге.

Он искренне верит, что все плохое осталось в прошлом. Кажется, что сплетни о его личной жизни отходят на второй план. Сейчас больше говорят о его музыке, о том, что он «не просто талантлив, но, кажется, гениален».

Приятно, черт возьми, когда в тебе признают гения еще при жизни!

Вроде бы все тернии остались позади — путь к звездам открыт.

«Боже мой! какое счастье быть свободным и не поправлять ежедневно шестьдесят задач, гармонических и инструментальных!» — прочла в очередном письме баронесса фон Мекк.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ «МЕЧТЫ, МЕЧТЫ...»

Почему-то несколько последних дней она пребывала в неоправданно хорошем расположении духа.

Неоправданно, поскольку дела шли далеко не лучшим образом. Управляющие, сколько их не меняй, усердно предавались одному и тому же занятию — обкрадывали ее, пытаясь скрыть свои делишки с помощью примитивных, давно изученных ею уловок. Увы, человек несовершенен. Она никак не могла свыкнуться с тем, что большинство людей готово рискнуть своим добрым именем, хорошим жалованием, положением в обществе, перспективами деловой карьеры и, наконец, свободой ради скорого обогащения при помощи сомнительных средств.

Пытаясь понять мотивы подобных поступков, она спросила у одного из пойманных за руку управляющих, Тарасевича:

— Неужели вам, Николай Николаевич, не совестно было обкрадывать меня, пользуясь полным моим доверием? Отчего вы решили, что вправе свободно запускать свою руку в мой карман?

Ответ ее поразил. Тарасевич и не подумал извиниться, или сказать что-либо в свое оправдание. Напротив, он нагло выдержал ее укоризненный взгляд и... упрекнул ее!

— Негоже вам, Надежда Филаретовна, разбогатев от щедрот казенных, корить меня за то, что я всего лишь следую примеру вашего покойного супруга и преследую свой собственный интерес там, где это возможно сделать!

И вдобавок позволил себе улыбнуться, мерзавец.

С ней случилась истерика. Некрасивая, и оттого еще более постыдная. Она повысила голос до визга, употребила несколько простонародных выражений, которые приличной женщине и знать нельзя, топала ногами... Хорошо, что все же сумела взять себя в руки и не нанести мерзавцу оскорбления действием. А то руки прямо чесались дать Тарасевичу пощечину или, на худой конец, запустить в него чернильницей.

Обошлось, слава богу. Прибежала дочь Юлия, слуги, Тарасевич ретировался и более ей на глаза не показывался. Был соблазн засадить его за решетку, в назидание прочим, но быстро прошел, стоило ей представить себе газетные заголовки: «Вор у вора украл» или «Вам можно, а нам

нельзя?». Не хотелось, чтобы попусту трепали Карлушино имя.

Да, концессии на постройку железных дорог были весьма выгодным предприятием, но — совершенно законным. И дороги Карлушины были идеального качества, без какого-либо обмана. Что плохого в том, что государь посредством концессий стимулировал развитие железнодорожного сообщения в стране? Так нет же — люди всегда и всюду найдут нечто грязное, постыдное.

Милочке нездоровится — у нее жар. Беспокойство за дочь снедает баронессу фон Мекк, но настроение все равно остается приподнятым.

«Знаете ли, что я ревную Вас самым непозволительным образом: как женщина — любимого человека. Знаете ли, что, когда Вы женились, мне было ужасно тяжело, у меня как будто оторвалось что-то от сердца. Мне стало больно, горько, мысль о Вашей близости с этою женщиною была для меня невыносима, и, знаете ли, какой я гадкий человек, — я радовалась, когда Вам было с нею нехорошо; я упрекала себя за это чувство, я, кажется, ничем не дала Вам его заметить, но тем не менее уничтожить его я не могла — человек не заказывает себе своих чувств. Я ненавидела эту женщину за то, что Вам было с нею нехорошо, но я ненавидела бы ее еще в сто раз больше, если бы Вам с нею было хорошо. Мне казалось, что она отняла у меня то, что может быть только моим, на что я одна имею право, потому что люблю Вас, как никто, ценю выше всего на свете».

Жизнь, полная забот о делах и семье, есть не жизнь, а существование. Одна лишь любовь наполняет ее содержанием. Любовь к Нему, такому... такому... такому...

Надежда фон Мекк судорожным движением поднесла к глазам платок с баронской монограммой. Тихо, домашние не должны услышать рыданий... Прибегут, станут утешать, выйдет неловко. Еще, чего доброго, сочтут ненормальной.

Как хорошо, что есть Он, и как ужасно, что нет никакой возможности быть подле него. Она все понимает и не станет... Но как же трепетало сердце там, в Браилове, когда она вошла в комнату и сказала себе: «Здесь он спал». Стол, за которым он писал, рояль, клавиши которого помнят прикосновение его пальцев. Грешно так рассуждать, но она завидовала даже вещам, которых он касался.

Каждый вечер она засыпала с мыслью о нем. Считала дни, оставшиеся ему до отъезда, предвкушала радость от очередного письма, ждала известий от Юргенсона...

«Я схожу с ума», — говорила она себе. Несколько раз она почти уже решалась на встречу, якобы случайную, но успевала опомниться.

Опомниться, потому что знала — ничего хорошего из этого не выйдет, потому что из этого не может выйти ничего хорошего.

Любовь, ревность, материнское чувство — все смешалось в ее душе. И не просто смешалось, а кипело, бурлило и рвалось наружу.

Для домашних Он уже стал «маминым Чайковским» или «ее композитором». Она знала, что над ее меценатством по-доброму посмеиваются, и была рада этому.

Только бы они не узнали истиной причины! Никому, даже Юлии, не решилась бы она открыться. Пусть лучше ее считают одержимой, неисправимой, но не влюбленной.

«Мне так хочется все знать, что Вас касается. Я жалею, что я не знала Вас с самой колыбели, что Вы не на глазах у меня выросли, развивались».

Вчера сын Коля пел его романс под аккомпанемент сестер, игравших на рояле в четыре руки.

Нет, только тот, кто знал свиданья жажду,

Поймет, как я страдал и как я стражду.

Гляжу я вдаль... нет сил, тускнеет око...

Ах, кто меня любил и знал, далеко!

Ах, только тот, кто знал свиданья жажду,

Поймет, как я страдал и как я стражду...<sup>[5]</sup>

Коля, в своем подражании взрослому страдающему мужчине, был откровенно смешон, но она этого даже не заметила. Она слушала романс, не умиротворяющий, а, напротив, бередящий душу страстью, прорывающейся из пего, и думала о том, как Ему удалось, предвосхищая события, написать это чудесное произведение задолго до начала их переписки. Может быть, он когда-то видел ее на публике и испытал... Ах, как хочется верить во все хорошее!

Страстно желая встречи с Ним и в то же время безумно боясь ее, она утешала себя тем, что духовному единению расстояние не помеха. Чувства она на протяжении всей своей жизни старалась отделить от чувственности. «Не понимаю и не признаю любви юных влюбленных существ. По моим понятиям, любовь начинается там, где она обыкновенно кончается, а именно, с близких отношений. Влюбленность же есть мечта, игра воображения, раздражение внешних чувств, вследствие которого является возбуждение совсем не почтенного свойства — чувственное, тогда как между людьми близкими чувственная сторона отодвигается совсем на задний план и действует только настолько, насколько природа наделила животным свойством человека, но, тем не менее, между ними устанавливается связь неразрывная...»

Она радуется тому, что он тяготеет к одиночеству. Ей не хочется делить Его ни с кем. Она готова создать Ему любые условия, необходимые для творчества, для того, чтобы Он был доволен и счастлив.

Неужели Ему не ясно, что интерес к его творчеству, прежде всего, основан на интересе к Нему? Музыка неотделима от своего создателя, особенно если к этому самому создателю испытываешь определенные чувства.

Она сама не отдает себе отчета в том, что, бесконечно ссужая своего любимого деньгами, она тем самым пытается крепче привязать его к себе, стать для него незаменимой помощницей, доброй феей.

Он благодарен, признателен, ласков, добр, но... в их отношениях есть некая грань, которую Он установил для себя, некий предел, через который он не может перешагнуть. Ей до сих пор немного досадно, что Он отказался перейти с ней на «ты». Она утешает себя, ссылаясь на присущие ему деликатность и застенчивость, но, где-то там, в потаенных глубинах души скребутся кошки... Ах, если бы можно было обменять состояние, нет — часть состояния, не больше половины, на молодость, красоту и музыкальный талант Впрочем, за талант можно было бы и добавить — ей бы хватило и четверти того, что она имеет сейчас...

Как же все-таки хочется пройтись под руку с ним по виа Сан-Леонардо! Вечером, при свете звезд!

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ «ФЛОРЕНЦИЯ»

Крыша двухэтажной виллы представляла собой огромную террасу, в середине которой возвышалась фигура Михаила-архангела, окруженная тремя другими фигурами в полном соответствии с творением великого Микеланджело, копией которого и являлась эта композиция.

Вид на прекрасный город, окруженный живописными селениями, ограничивали Апеннинские горы, покрытые легкой дымкой. По мере восхода солнца горы меняли свой цвет, чтобы в итоге стать зелеными. Вид был настолько хорош, что хотелось забросить сочинять музыку и срочно становиться художником.

В детстве он рисовал, его рисунки нравились Фанни, она даже попросила какой-то из них себе на память. Где сейчас милая Фанни? Жива ли она?

Он сделал несколько шагов по террасе и принялся разглядывать величественный монастырь Сан-Миньято, окруженный кипарисами. Неподалеку от монастыря он увидел красивую церковь.

— Здесь хорошо бывать вечером, — сказал Пахульский. — Мириады огней внизу смотрятся просто очаровательно. А каковы статуи на фоне звездного неба! И шум реки!

Пахульский, еще сохранивший на щеках юношеский румянец, был неисправимый восторженный романтик и хороший скрипач. Надежда Филаретовна покровительствовала ему и держала его при себе в качестве придворного музыканта. Отец Пахульского, живший в Либаве, служил на ее железной дороге помощником начальника участка.

— А вон там расположена башня Галилея, — Пахульский махнул рукой в сторону. — Говорят, что с нее открывается великолепный вид на окрестности.

— Лучше этого? — усомнился Петр Ильич.

— Мне трудно судить, Петр Ильич, — пожал плечами Пахульский. — Все никак не соберусь побывать там. Тут же недалеко, кстати говоря, расположен дом, где и жил сам Галилей...

— Здесь очень красиво. Прямо дух захватывает.

— Вы, конечно же, знаете, что сама Надежда Филаретовна живет в полуверсте отсюда, во дворце Оппенгейма.

— Да, разумеется, она писала об этом.

— Нынче во Флоренции тихо, поскольку король и королева уехали,

даже, я сказал бы — немного скучно. Знаете же этих итальянцев с их обычаем давать одну и ту же оперу целый месяц подряд.

— Невыносимый обычай, — подтвердил Петр Ильич.

Он был рад тому, что из двух, предложенных любезной Надеждой Филаретовной, резиденций, выбрал загородную. Выбирать ему пришлось заочно. «Обе резиденции, в городе и за городом, имеют свои *pour et contre*.

[6] В городе, конечно, веселее, оживленнее, но прогулки здесь приятнее, виды красивее, и во многих отношениях обе стороны имеют свои преимущества и недостатки, и Вам решить, милый друг мой, что Вы предпочитаете, и я прошу Вас известить меня об этом письмом или телеграммой из Волочиска, с таким расчетом времени, чтобы я имела дня два до Вашего приезда сюда».

— Хозяину велено не беспокоить вас, Петр Ильич, а со всеми вопросами обращаться к Надежде Филаретовне.

На первом этаже виллы Бончиани, расположенной на виале деи Колли, был летний ресторан, который в это время года не работал. Второй этаж был предоставлен в его распоряжение. Разумеется, с заранее абонированным и настроенным роялем, стоявшим в одной из комнат.

Лучшего нельзя было и пожелать. Разве мог сравниться с этим великолепием номер в отеле, пусть даже очень комфортабельный номер в очень хорошем отеле!

«Я решительно не приберу выражений, милый друг мой, чтобы выразить Вам мое полное очарование от всего, что меня здесь окружает. Нельзя себе представить более идеальных условий для жизни. Вчера я долго не мог заснуть и бродил по своему прелестному помещению, наслаждаясь чудной тишиной, мыслью, что под ногами у меня симпатичный город Флоренция, наконец, сознанием того, что я вблизи от Вас. Сегодня утром, когда я открыл ставни, очарование еще удвоилось. Я так люблю своеобразную характерность флорентийских окрестностей! Что касается самой квартиры, то она имеет лишь тот недостаток, что слишком хороша, слишком удобна и поместительна. Боюсь избаловаться. Одно из самых драгоценных свойств квартиры это то, что у меня огромный балкон, по которому ничто не мешает мне гулять и наслаждаться чистым воздухом, не выходя, так сказать, от себя. Для меня, страстного любителя чистого воздуха, это имеет капитальное значение».

— Владислав Альбертович! Не откажитесь отужинать со мной сегодня, — попросил Чайковский. — Я еще не полностью свыкся с мыслью о том, что я уже в Европе. Хочется, знаете ли, подробно узнать здешние музыкальные новости, да не из газет (тут он поморщился, вспомнив,

сколько плохих минут доставили ему газеты), а от заслуживающего доверия и приятного в общении человека.

— С удовольствием, — ответил польщенный комплиментом Пахульский, премило краснея ушами.

И за все время ужина не задал ни одного вопроса о Москве, о Петербурге, о консерватории. Зато много рассказывал сам и обстоятельно отвечал на вопросы, время от времени вставляя в беседу очередной анекдот из жизни короля Гумберта Первого и его двора. Поистине — приятный в общении человек, иначе и не скажешь!

Ужинали здесь же — на вилле Бончиани. К чему ехать в город, если дома (вилла понравилась настолько, что уже стала домом) есть повар, нанятый Надеждой Филаретовной, и слуга, нанятый ею же, превосходно справлявшийся с обязанностями официанта?

За чаем (Надежда Филаретовна была так внимательна, что послала ему московского чаю из своих дорожных запасов) разговор перешел на самого Пахульского.

— Не откажите в любезности, Петр Ильич, — прямо-таки взмолился Владислав Альбертович. — Я, признаюсь вам, недавно начал увлекаться сочинительством, и мне так хочется сыграть вам несколько моих опусов...

— Хочется — играйте, — улыбнулся Чайковский.

Перешли к инструменту. Слуга по кивку Петра Ильича начал убирать со стола. Графин с коньяком и рюмки, на которые хозяин указал рукой, были оставлены.

Вначале Пахульский по памяти сыграл марш.

Марш был весьма недурен, для первого опыта даже очень, но форма... форма оставляла желать лучшего. Дождавшись пока Пахульский кончит игру, Петр Ильич попросил его поменяться местами и проиграл марш так, каким он сам хотел бы его слышать. Тоже по памяти — музыку он всегда схватывал на лету.

— Сразу видно мастерство! — восхищенно выдохнул Пахульский. — И в представлении, и в исполнении! Я за вами, Петр Ильич, даже повторить не смогу!

— В этом-то и дело, — поднялся из-за инструмента Чайковский. — Композитор прежде всего должен быть хорошим пианистом. Вам, Владислав Альбертович, необходимо приобрести должную фортепианную технику. Вы должны свободно разбирать и играть всякую музыку, разве что за исключением виртуозно-концертной. Играйте, как можно больше, играйте и добивайтесь техники.

Сказал и напрягся внутри — вдруг Владислав Альбертович обидится.

Не хотелось бы...

Владислав Альбертович и не подумал обижаться. Наоборот — поблагодарил за совет, после чего вновь уселся за инструмент и исполнил две пьесы собственного сочинения. Композитор из него обещал получиться хороший, хотя бы потому, что он понимал, что красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте и естественности. И огонек в нем чувствовался, хоть и слабенький.

— Вам сколько лет, Владислав Альбертович?

— Двадцать один, — смутился тот.

— Полно смущаться, — Петр Ильич ободряюще похлопал его по плечу. — Молодость — это недостаток, который быстро проходит... Разрешите дать Вам совет?

— Почту за честь, — Пахульский смутился пуще прежнего. Верно решил, что сейчас ему посоветуют играть на скрипке и не лезть в высокие сферы сочинительства.

«А уши-то пылают, как рубины!» — восхитился Петр Ильич. Пахульский немного напоминал ему племянника Володю.

— Отбросьте прочь неуверенность, неверие в свои силы! Эта черта сгубила не одного подающего надежды композитора... (Чуть не сорвалось с языка имя Сережи Танеева.) Пишите музыку, играйте музыку, слушайте музыку, но... Сейчас мы с вами, Владислав Альбертович, выпьем по рюмочке за ваше будущее, и я открою вам один секрет!

Вместо одной рюмочки пришлось выпить две — донельзя взволнованный Пахульский провозгласил в ответ тост «за лучшего из отечественных композиторов». От доброго слова на душе стало еще приятней.

— Так вот, Владислав Альбертович, вам мой секрет, — вернулся к делу Чайковский. — Не сочиняйте музыку, а высказывайтесь посредством музыки! Выражайте свои чувства, свои мысли, свои желания через музыку. По моему мнению — это единственный ключ к успеху! У вас есть внутренняя потребность музыки, я чувствую это. Дайте же ей проявиться!

Пахульский засиделся — после музыки они долго говорили о Надежде Филаретовне. Ничего нового он не узнал — настолько подробно она писала о себе в письмах.

Перед тем как расстаться, уговорились регулярно встречаться для занятий музыкой. Чайковский вдруг осознал, что преподавание может доставлять огромное удовольствие, главное, чтобы ученик был одаренным и вызывал симпатию.

Петра Ильича очень взволновало приглашение баронессы фон Мекк

пожить во Флоренции в одно время с ней. Что это — намек? Неосознанная потребность?

В глубине души он испытывал страх. Он боялся жить так близко от своей благодетельницы, боялся того, что в один из дней она подстроит случайную встречу с ним или призовет его к себе. Антонина Ивановна явилась причиной того, что теперь уже любое женское общество (за исключением сестры Сашеньки) вызывало у него раздражение. Было страшно испытать черное чувство вблизи никак не заслужившей этого баронессы фон Мекк, и еще страшнее было дать ей почувствовать это.

Пусть лучше все остается по-прежнему...

Ночью не спалось и не работалось — до утра читал о Бисмарке.

Новыми книгами и свежими русскими газетами тоже снабжала она. Привыкшая заботиться о многочисленных детях и огромном хозяйстве, она предусматривала каждую мелочь, вплоть до его любимых папирос. Узнав о том, над какой именно оперой работает Петр Ильич, она сразу же пришлет ему могущую быть полезной книгу.

На рассвете он заснул и проспал почти до одиннадцати часов. Привел себя в порядок и встал у одного из окон, выходящих на улицу, с таким расчетом, чтобы его нельзя было заметить снизу. Встал вовремя — не прошло и двух- трех минут, как внизу прошла она. С дочерьми, среди которых выделялась сходством с матерью Юлия, внуками, служанками и большой собакой, о которой она тоже писала. Пахульский был здесь же — скромно шел в стороне. Петр Ильич уже знал, что он влюблен в Юлию Карловну и очень боится, что Надежда Филаретовна, узнав об этом, лишит его своего расположения. Наивный юноша — его чувства к Юлии должны быть давно известны всем. Пахульский совершенно не умел притворяться. Даже со второго этажа можно было понять все без слов лишь по тому, что он неотрывно смотрел не на дорогу, не по сторонам, а на Юлию, старательно его не замечавшую.

Отделенная стеклом и расстоянием, Надежда Филаретовна казалась безопасной и вызывала в нем только любопытство, любопытство соглядатая, нет, не соглядатая — тайного обожателя. Обожателя робкого, страшщегося не только коснуться предмета своего обожания, но и подойти к нему ближе, чем на десять шагов...

Героиней его новой оперы стала Жанна д'Арк. Опера так и называлась — «Орлеанская дева». Сережа Танеев ужаснулся бы одной лишь мысли — писать оперу на сюжет, уже воплощенный в жизнь блистательным Верди. Сережа постоянно боится, что его обвинят в подражании кому-то.

Чайковский уже не боялся никаких обвинений. Заматерел, привык,

надоело...

Он знал, что Верди — посредственный композитор, пишущий скверные оперы. Такому и подражать стыдно, да и незачем.

Мысль о Жанне д'Арк пришла еще в Каменке, во время чтения Шиллера.

Петр Ильич прекрасно отдавал себе отчет, чем привлек его образ Жанны.

Она была некрасива, она умела повести людей за собой, полностью подчинив их своей воле, она желала добра и была способна на любые жертвы, вплоть до самой великой...

У его Жанны Д'Арк было лицо Надежды Филаретовны фон Мекк.

Д'Арк — фон Мекк, даже фамилии (если можно так выразиться) были созвучны.

Не желая участия посторонних, он сам взялся писать либретто. Он верил в свои силы — то, что удавалось Модесту, должно удался и ему. Пусть немного хуже, но — удался.

«Трудности не в отсутствии вдохновения, — а, напротив, в слишком сильном напоре одного, — писал Петр Ильич Модесту. — Мной овладело какое-то бешенство; я целые три дня мучился и терзался, что материалу так много, а человеческих сил и времени так мало. Мне хотелось в один час сделать все, как это бывает в сновидении. Ногти искусаны, желудок действовал плохо, для сна приходилось увеличивать винную порцию, а вчера вечером, читая книгу о Жанне д'Арк и дойдя до процесса *abjuration*<sup>[7]</sup> и самой казни (она ужасно кричала все время, когда ее вели, и умоляла, чтобы ей отрубили голову, но не жгли), я страшно разревелся...»

С утра он работал над новой оперой, а позже, после небольшого перерыва, принимался за инструментовку сюиты.

И ежедневно писал письма. Надежде Филаретовне, с которой сообщался без посредства почты — письма носили слуги, братьям, сестре, Юргенсону. Как-то написал Рубинштейну, писал Танееву.

Во Флоренции он жил и работал так, как всегда мечтал — свободно, покойно и с комфортом.

На Рождество он собрался в Париж. Фон Мекки уезжали в Вену. Почти перед самым отъездом она прислала ему билет на концерт гастролировавшей во Флоренции труппы Белотти Бон.

Он понял, что она и впрямь хотела его видеть, для того и предложила поселиться вблизи от нее, но так и не решилась... Приглашение на концерт стало своеобразной компенсацией несостоявшейся встречи и в то же время обещанием, что дальше этого она идти не станет.

Сидевший в первом ряду, он хорошо был виден из ее ложи. Она могла гордиться собой — ей удалось полностью насытиться созерцанием, но их взгляды ни разу не встретились...

Он тоже посматривал на нее украдкой и отчего-то грустил.

Грусть не раздражение, лечить ее коньяком очень приятно.

«Дни, проведенные здесь, останутся навсегда в моей памяти светлым воспоминанием. Я был здесь счастлив, покоен, на душе было светло и тепло, и близость от моего лучшего милого друга сообщала всему окружающему какую-то особую прелесть», — напишет Чайковский Надежде Филаретовне.

«Я была бы очень счастлива, если бы еще когда-нибудь повторилось такое счастье. Благодарю Вас, дорогой мой, за все, все хорошее, доброе, что Вы мне доставляли здесь, и всегда буду вспоминать с восторгом время, проведенное так близко от Вас и в постоянном общении с Вами. Мне грустно, больно до слез, что счастье это кончилось, но я стараюсь утешать себя мыслью, что, быть может, когда-нибудь оно повторится», — ответит она.

К письму баронесса фон Мекк приложит двести лир для окончательного расчета с хозяином виллы, синьором Бончиани, и две тысячи франков, на случай, если Чайковскому вздумается издать только что оконченную сюиту в Париже.

Итальянцы во все времена имели репутацию записных пройдох — Надежда Филаретовна не забудет приложить и все оплаченные ею счета, подписанные синьором Бончиани, чтобы тот не вздумал содрать лишнего с непрактичного и совестливого постояльца.

«Вы — источник и моего материального и моего нравственного благосостояния, и моей благодарности Вам нет пределов», — прочла она в следующем письме.

С этим письмом к ней вернулись две тысячи франков, предназначавшиеся для издания сюиты. Чайковский написал, что у него достаточно денег. «Очень боюсь, чтобы Вы не рассердились на меня, но даю Вам честное слово, что мне не на что тратить так много денег, а в случае нужды я все равно обращусь к никогда не оскудевающей руке Вашей».

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

### «ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА»

Доехали до Парижа превосходно — всю дорогу, кроме них с Алексеем, никого в купе не было.

Остановились на рю де ла Пэ в «Отель д`Толлан».

— Надолго ли мы здесь? — спросил Алексей, распаковывая багаж в номере.

— На неделю, не больше, — ответил Петр Ильич. — Ну его, этот Париж, хочется поскорее в Кларан.

Шумный город отталкивал его, а пустынная, почти безлюдная деревня, напротив, манила. Ах, Кларан! Ах, милая вилла Ришелье!

Чтобы развлечься, он отправился слушать «Фауста» Берлиоза...

Интересное письмо прислал брат Анатолий. Оказывается, к нему явился какой-то таинственный господин, сообщивший, что Антонина Ивановна обратилась к адвокату с требованием развода. Сам же визитер представился доверенным лицом Антонины Ивановны, присланным для обсуждения условий.

Старого карпа на голый крючок не поймать — Чайковский написал брату, что разговаривать с лицом, не облеченным доверенностью, не следует, что никаких денег за развод больше жене не даст, что если уж она сама надумала разводиться, то пускай дождется его возвращения в Россию. Планов же своих он менять не намерен и вернется тогда, когда пожелает, ни единым днем раньше.

Алеша, узнав о новом всплеске активности Антонины Ивановны, горестно покачал головой и поддержал:

— Пока мы до Москвы доедем, она уже не один раз передумать успеет. Это же Антонина Ивановна!

— Знаешь, Леня (иногда он называл Алешу так), даже развод не избавит меня от этой женщины. Она так же будет докучать мне, Анатолию Ильичу, Петру Ивановичу, пороть всякую чушь, клянить деньги, распространять обо мне гнусные слухи, только станет делать это на правах бывшей жены. Черт с ней, с дурой!

Подумал немного и добавил:

— Тем более что она показала себя далеко не с лучшей стороны и к ее бредням в обществе уже не прислушиваются. У меня есть всего одно

желание, касающееся Антонины Ивановны, — я никогда не хочу видеть ее! Запомни, Леня, — никогда, ни под каким предлогом, не пускай эту гадину ко мне! Даже к смертному одру моему не пускай!

— Господи помилуй! — трижды перекрестился набожный Алексей. — Какие страшные слова вы говорите, Петр Ильич.

И для верности постучал по столу, отпугивая нечистую силу.

«Теперь следует ожидать письма от Юргенсона, — подумал Петр Ильич. — Она не может оставить его в покое, если уж начала докучать Анатолию».

Как в воду глядел — письмо от Петра Ивановича пришло на следующий день. Юргенсон писал, что ему пришло от Антонины Ивановны письмо, полное множества непостижимых оскорблений. Юргенсон тут же известил Антонину Ивановну, что впредь ее письма будут возвращаться к ней нераспечатанными.

На этом очередной анекдот из семейной жизни закончился. Антонина Ивановна то ли испугалась, то ли устала и умолкла на время...

Какая же прелесть эти кафе на открытом воздухе! В России такое вряд ли возможно — если не обольют сверху помоями, то непременно толкнут, обругают, осмеют?

После распиской «Андромахи», которую он только что смотрел в «Комеди Франсез», в отель возвращаться не хотелось. Он уселся за угловой столик, спросил абсента, который пил только во Франции, отдавая дань местным богемным традициям, и принялся следить за снующими толпами народа.

Воздух был свеж, голова ясна, душа спокойна.

От нечего делать он смотрел на приветливых девушек, торговавших вразнос цветами, и пытался представить хоть одну из них на месте Орлеанской девы. Не получалось — образ, сформировавшийся в его душе, был незыблем.

Жанна виделась ему не религиозной фанатичкой, не одержимой безумием, а доброй, немного строгой к себе и окружающим, готовой на любые жертвы во имя достижения своей цели.

Он разыскал в Париже либретто вердиевской «Жанны д'Арк», запасся нужной литературой и уехал в Кларан, чтобы поработать там в тишине и покое недели три, а потом снова вернуться в Париж. К тому времени должна была приехать в Париж и баронесса фон Мекк.

До Кларана ехали тяжело — из-за снежных заносов пришлось более суток проторчать в Дижоне. В Кларан Петр Ильич приехал промерзшим, не выспавшимся, злым, словно тысяча чертей. Коньяк уже не согревал и не

радовал его.

Он бранился, капризничал, повышал голос — Алеша покорно сносил все, не думая обижаться.

Он раскаивался, рыдал, просил прощения, совал Алеше деньги. Алеша прощал, утешал, рыдал вместе с ним, а от денег наотрез отказывался.

Когда все плохое забылось, он взялся за оперу. Петр Ильич чувствовал себя на вилле Ришелье, как дома, и после шумной парижской жизни был очень рад отдохнуть в этой благословенной тишине.

«Сегодня я уже начал и написал первый хор первого действия, — писал он баронессе фон Мекк перед наступлением нового, 1879, года. — Сочинение этой оперы будет мне очень затруднено тем, что я не имею готового либретто и даже еще не вполне выработал план сценария. Покамест я составил подробную программу первого действия и понемножку пишу текст, конечно, заимствуя больше всего у Жуковского, но также и в других источниках, и в особенности у Barbier<sup>[8]</sup>, трагедия которого на сюжет «Иоанны» имеет много достоинств. Но, так или иначе, а все-таки приходится самому кропать стихи, что мне дается с большим трудом...»

Завтрак, прогулка, работа над оперой, обед, прогулка, работа над либретто, ужин, чтение под тихий треск тлеющих в камине поленьев.

Почти все ночи в Кларане спал он превосходно. Ни одного нервного припадка, ни одного приступа бессонницы. Лишь однажды, из-за дум о том, сколько ему предстоит трудов, хлопот и стараний, чтобы добиться постановки «Орлеанской девы» на сцене, ночь пройдет плохо. Всего лишь однажды.

Немноголюдный Кларан из-за снежных заносов обезлюдел совсем. Настолько обезлюдел, что в нем становилось скучно. Чтобы развлечься, он время от времени наезжает в Женеву. Сходит там на концерт или в театр, переночует в гостинице и возвращается в Кларан. В Кларане от скуки начинает обучать Алешу французскому языку.

В Женеве ему попала в руки статья из «Нового времени», с нападками на Николая Григорьевича Рубинштейна. Чайковский возмущен — он, не откладывая, пишет письмо к Владимиру Васильевичу Стасову, музыкальному сотруднику этой газеты, в котором просит его разъяснить редактору «Нового времени», Алексею Сергеевичу Суворину, что нельзя с таким упорством и такой злобой преследовать человека, оказавшего большие услуги русскому искусству. Считая Стасова человеком недалеким, но добрым и порядочным, Чайковский в своем письме напирал на то, что в качестве музыкального сотрудника Стасов не должен терпеть, чтобы в его

газете систематически поносился человек, имевший огромные заслуги перед русской музыкой.

Вообще-то суворинскую газету «Новое время» приличные люди считали... мягко говоря беспринципной, и годной разве что для деликатного употребления. Однако Петр Ильич на своем горьком опыте знал, что больно жалит любая гнусная публикация, вне зависимости от того, какое именно издание ее напечатало.

Из России приходит приятная весть — его «Евгений Онегин» будет исполняться в одном великосветском обществе, причем аккомпанировать будет великий князь Константин Константинович.

Музыка сочиняется хорошо, а вот либретто, несмотря на весь первоначальный оптимизм, дается ему туго. Он в очередной раз жалуется баронессе на то, что со словами он справляется куда хуже, чем с нотами, баронесса сочувствует и предлагает ему перестать мучить себя и заказать либретто кому-нибудь из литераторов.

Чайковский отказывается. Хороший литератор возьмет очень дорого, а плохого ему не надо. Увы, он не знает ни одного подходящего в либреттисты человека. Кроме того, автору либретто недостаточно быть только стихотворцем, ему нужно знать сцену, а маститые поэты «театром никогда не занимались». Вдобавок «каждый свой стих они считают святыней и сердятся, когда музыкант по собственным своим соображениям изменяет, дополняет и сокращает».

А самое главное — два действия у Петра Ильича уже вполне готовы, а остальные два намечены и обдуманы. Чего же при подобном раскладе искать автора либретто на стороне?

Он все сделает сам и докажет, что способен писать не только камерные оперы, такие, как «Евгений Онегин», но и монументальные! Осталось недолго...

Изучив несколько книг, повествующих о Жанне д'Арк, сюжет в итоге взял он от Шиллера, правда, с изменениями. У Шиллера Жанна гибла на поле битвы, а в опере она, обвиненная инквизицией в колдовстве, взойшла на костер. Вдобавок Чайковский усилил и развил лирическую линию в сюжете своего произведения — взаимную любовь Жанны и рыцаря Лионеля, из вражеского стана. Самого Лионеля из англичанина сделал бургундцем, так выходило лучше и достовернее.

В каждого персонажа творец вкладывает частичку себя самого — образ Жанны (или — Иоанны, как называл ее сам Петр Ильич), что было весьма характерно для него, полон противоречий. Жанна раздирается между своим женским началом и своим же характером воительницы,

между любовью и долгом, между земным счастьем и обещанным ей небесным блаженством. Чередую грандиозные кульминационные сцены с лирическими эпизодами, Чайковский мастерски выразил, тонко подчеркнул эти противоречия, сумев выразительно донести их до зрителя...

Трудности были по дороге в Кларан, возникли они и при отъезде. Баронесса фон Мекк намеревалась вручить Чайковскому очередную «стипендию» в Париже, а у того деньги закончились полностью еще в Кларане. Он не только не имел денег для возвращения в Париж, но и задолжал милейшей хозяйке виллы Ришелье две сотни франков. Пришлось срочно просить у Надежды Филаретовны шестьсот франков. Она, рассыпаясь в извинениях, прислала тысячу — не было под рукой мелких денег.

Пятого февраля он был уже в Париже.

Хозяйка виллы плакала, расставаясь со своими единственными постояльцами. Ей было жаль денег, да и постояльцы были очень приятными спокойными людьми. Из тех, к кому быстро привыкаешь, да так, что и расставаться не хочется.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ «СТУПЕНИ К СЛАВЕ»

«Я непременно воспользуюсь Вашим советом и напишу Юргенсону, чтобы он выслал экземпляр «Онегина» Бюлову. Вообще говоря, я не люблю по собственной инициативе знакомить музыкальных тузов с моими писаниями, но Бюлов составляет единственное исключение, ибо он в самом деле интересуется русской музыкой и мной. Это едва ли не единственный немецкий музыкант, допускающий возможность, чтобы русские люди могли тягаться с немцами в композиции. По поводу предубеждения немцев к нашему брату я вспоминаю, что, кажется, не писал Вам о *fiasco*, которое этой зимой потерпела моя «Франческа» в Берлине. Бильзе играл ее два раза, и второе исполнение было с его стороны подвигом гражданского мужества как после первого раза газеты единодушно выбрали эту несчастную фантазию, а публика хотя не шикала, но отнеслась с холодным и слегка враждебным равнодушием. Отлагая скромность в сторону, скажу, что это в самом деле не что иное, как предубеждение», — еще из Кларана писал баронессе фон Мекк Чайковский.

Гансу фон Бюлову музыка Чайковского нравилась настолько, что он часто играл ее. А понравиться привередливому Бюлову было непросто.

Они познакомились во время турне Бюлова в Россию в 1874 году и после этого некоторое время вели переписку. Чайковский рецензировал фортепианный вечер Бюлова, состоявшийся в марте того же года в Московском Большом театре. «Прежде всего, поражает невероятное техническое совершенство», — писал он.

Бюлов в свою очередь всегда хорошо отзывался о Чайковском. «Он уже не первый раз пишет обо мне весьма сочувственно. Когда он был в Америке (три года тому назад), мы, и даже однажды я должен был заплатить пятнадцать рублей за ответную телеграмму в десять слов, которую должен был послать, чтобы отплатить учтивостью за учтивость. Он там везде играл мой концерт, и по поводу успеха этого концерта и затеялась переписка. В письмах своих он расточал мне такие восторженные похвалы, в сравнении с которыми его теперешний отзыв ничего не значит», — напишет Петр Ильич о Бюлове в январе 1879 года.

— Петр Ильич доволен вами, Владислав Альбертович. Послушайте, что он пишет мне: «Я очень доволен сегодняшними работами Пахутьского.

Про пего можно сказать, что это молодой человек с толком. С такими юношами приятно иметь дело. Приятно видеть, что он с каждым разом идет вперед». Мне было очень приятно читать эти строки.

— А мне очень приятно слышать все это от вас. Надежда Филаретовна. И вы, и Петр Ильич очень добры ко мне, — Пахульский покраснел и опустил глаза.

«Какая наглость. — подумал он, разглядывая истертый ковер. — Брать за апартаменты такие деньжищи и не озаботиться своевременной сменой ковров».

Чтобы пауза не выглядела неловкой (от этого Пахульский смутился бы еще больше), баронесса вставила в длинный мундштук вишневого дерева, украшенный искусной резьбой, папиросу и закурила ее, чиркнув спичкой.

Когда-то, в самом начале их знакомства, Пахульский попробовал было чиркнуть спичкой, чтобы дать баронессе прикурить, но был немедленно отчитан ею за «лакейские привычки».

— Что вы себе вообразили, Владислав Альбертович? — гневалась она. — Разве я немощна или у меня рук нет?

— Но этикет... — промямлил несчастный юноша.

— Дурацкие выдумки бездельников, вот что такое этот ваш этикет! — отрезала баронесса. — Всячески принижая роль женщины в общественной жизни, мужчины неуклюже пытаются компенсировать это чрезмерной услужливостью...

Гневная отповедь длилась около получаса, пока добрая Юлия Карловна, которой стало жаль Пахульского, не утащила его к себе под каким-то надуманным предлогом...

— Петр Ильич говорил, что ему удалось найти здесь хорошие папиросы, — к месту вспомнил Пахульский.

— Почему? — баронесса фон Мекк, подобно многим богатым людям, любила швыряться тысячами и при этом сэкономить гривенник-другой на закупке провизии.

— По семи франков за сотню.

— Неплохо, — одобрила Надежда Филаретовна, пуская к потолку кольца дыма. — Надо бы спросить у него, где именно он их берет.

— Я спрошу, — пообещал Пахульский.

— Я сделаю это сама, — ответила баронесса. — Кстати, Владислав Альбертович, что у нас там с местными газетчиками?

— Вот, прошу вас, — Пахульский привстал и выложил на стол перед баронессой несколько листов, извлеченных из кармана. — Простите, Надежда Филаретовна, за то, что бумага помялась. Как впопыхах сунул их

в карман, так и забыл там.

— Почему впопыхах? — уточнила дотошная баронесса.

— Я как раз окончил писать, когда вошла...

— Ясно, — перебила его баронесса, пробегая глазами список. — Однако эти французы дорого ценят свой труд. Небольшая хвалебная заметка — две тысячи франков! Грабеж!

— Это же лучшая газета во Франции...

— Я понимаю, Владислав Альбертович, но тем не менее.

— К сожалению, Надежда Филаретовна, я совершенно не умею торговаться, — огорчился молодой человек. — Мне жаль...

— Не переживайте, — махнула рукой баронесса. — Тем более что с этой публикой торговаться нельзя — себе дороже выйдет. Обидятся и напишут такое... Или тонко шпильку подпустят в хвалебной статье, а шпилька это похвалу в издевку превратит. Сообщите им, что я согласна. Только предупредите, что все статьи предварительно должны быть показаны вам для одобрения...

— Вы, должно быть, хотели сказать «вам», а не мне...

— Я сказала то, что хотела! — слегка раздраженно ответила баронесса. — Вы лучше меня разбираетесь в том, как положено восхвалять композитора! Но не забудьте о том, что вся эта кампания должна развиваться постепенно и по нарастающей. Вы поняли меня? И чтобы не единая живая душа не могла связать нашу затею с моим именем!

— Не беспокойтесь, Надежда Филаретовна, — заверил Пахульский. — Я намекнул всем, с кем имел дело, что действую по поручению...

Он замялся. Баронесса затушила папиросу в тяжелой мраморной пепельнице и ждала.

Пахульский все молчал.

— Ну, говорите же, Владислав Альбертович! — подбодрила его баронесса. — Чертовски любопытно — на кого вы сослались? По чьему поручению вы действуете?

— Одного из великих князей...

— То-то же они запросили с вас втридорога! — рассмеялась баронесса. — Однако вы умница! Ваша выдумка хороша — французы обожают громкие титулы! Теперь я могу быть уверена, что все пройдет, как говорил мой батюшка, царствие ему небесное, «без сучка, без задоринки».

Она закурила новую папиросу и сказала:

— У меня есть еще одна столь же деликатная просьба. Вам надо будет встретиться с Колонном. Разумеется, в роли посланца одного из великих князей...

В Париже все же лучше, чем в Кларане. Тем-то и хороши большие города: с одной стороны, они обволакивают своей кипучей суетой, а с другой — предоставляют превосходную возможность затеряться в толпе неузнанным.

Завтраки в Пале-Рояль, обеды на Елисейских Полях, долгие прогулки и ежевечерние развлечения прекрасно сочетаются с работой — к концу февраля написана опера «Орлеанская дева». Осталось «только присесть, вооружиться пером и начать уписывание партитуры».

В одном из своих писем Надежда Филаретовна поинтересуется, почему он не бывает у Тургенева, жившего в то время в Париже, и получит обстоятельный ответ, нечто вроде исповеди.

«Всю мою жизнь я был мучеником обязательных отношений к людям. По природе я дикарь. Каждое знакомство, каждая новая встреча с человеком незнакомым была для меня всегда источником сильнейших нравственных мук.

Мне даже трудно объяснить, в чем сущность этих мук. Быть может, это доведенная до мании застенчивость, быть может, это полнейшее отсутствие потребности в общительности, быть может, ложный страх показаться не тем, что я есть, быть может, неумение без усилия над собой говорить не то, что думаешь (а без этого никакое первое знакомство невозможно)... Ни разу в жизни я не сделал ни единого шага, чтобы сделать знакомство с тою или другою интересною личностью, а если это случалось само собою, по необходимости, то я всегда выносил только разочарование, тоску и утомление. Чтоб не ходить далеко за примером, расскажу Вам только, что два года тому назад писатель граф Л. Н. Толстой выразил желание со мной познакомиться. Он очень интересуется музыкой. Я, конечно, сделал слабую попытку спрятаться от него, но это не удалось. Он приехал в консерваторию и сказал... что не уедет, пока я не сойду и не познакомлюсь с ним... Мы познакомились... тут же, после первого рукопожатия, он изложил мне свои музыкальные взгляды. По его мнению, Бетховен бездарен. С этого началось. Итак, великий писатель, гениальный сердцевед, начал с того, что с тоном полнейшей уверенности сказал обидную для музыканта глупость».

Граф Лев Николаевич Толстой был склонен к преувеличениям и эпатажу. Возможно, великий знаток человеческих душ, коим он мнил себя, просто хотел огоршить Чайковского, втянуть его в дискуссию, горячий спор, в котором личность раскрывается как нельзя лучше, но добился совершенно противоположного результата.

«Обществом человека можно наслаждаться, по-моему, только тогда,

когда вследствие долголетнего общения и взаимности интересов (особенно семейных) можно быть при нем самим собой, — продолжает Петр Ильич. — Если этого нет, то всякое сообщество есть тягость, и мой нравственный организм такой, что я этой тягости выносить не в силах. Вот почему, милый друг, я не иду ни к Тургеневу, ни к кому бы то ни было».

Музыка ничего не значит сама по себе, без слушателей.

Композитор должен как можно чаще бывать на публике, заводить полезные связи, всячески способствовать росту популярности своих произведений.

Чайковский прекрасно понимал это, но... переламывать себя уже не хотел. Успокоился.

«Я много теряю вследствие своей нелюдимости. О, если б Вы знали, как я боролся с этим недостатком и сколько я переносил от этой борьбы с своей исключительной натурой, как меня это мучило, как я трудился над своим исправлением!

Теперь я успокоился. Я убедился окончательно, что бесполезно продолжать попытки своего перевоспитания в мои годы. Случись мне, положим, три года тому назад провести некоторое время в Париже, я бы, вероятно, как и теперь, в конце концов ни к кому не пошел бы, но это меня мучило бы, я бы упрекал себя. Тургенев несколько раз выражал к моей музыке много симпатии, Виардо пела мои романсы. Казалось бы, следовало бы пойти к ним, и, вероятно, это принесло бы мне даже пользу. Теперь я уже примирился с мыслью, что успехи мои парализируются моей нелюдимостью, и совершенно успокоился».

Он поступал так, как считал нужным. Разве не в этом счастье — быть самим собой?

«Зато уверяю Вас, мой друг, что когда мне случается говорить Вам, что я никогда не был так счастлив, как теперь, то слова эти глубоко прочувствованы мной.

Да! я очень счастлив с тех пор, как могу прятаться в своей норке и быть всегда самим собою, с тех пор, как книги, ноты составляют мое всегдашнее и почти исключительное общество. Что касается собственно знакомства с знаменитыми людьми, то я еще прибавлю, что по опыту додумался до следующей истины: их книги, их ноты гораздо интереснее их самих».

Знаменитый дирижер Эдуар Колонн исполняет в Париже «Бурю». Чайковский рад росту своей популярности, но переживает по поводу недостатков своего произведения. Не с «Бури» надо было начинать Колонну, не с «Бури»...

Хорошо в Париже, но в Петербурге его с нетерпением ждут соскучившиеся братья, а в Москве — постановка «Евгения Онегина».

В последний день февраля Чайковский уезжает в Россию.

Перед отъездом получает от баронессы фон Мекк очередную сумму, решает обновить свой гардероб, увлекается и в результате застревает в Берлине, не имея средств для продолжения пути. Безуспешно пытается «достучаться» телеграммами до Юргенсона или просто сообщает об этом баронессе фон Мекк, чтобы новая, столь скорая просьба денег не выглядела очень уж бестактно. Просит восемьсот франков, и конечно же получает тысячу.

Берлинские впечатления Петра Ильича весьма своеобразны: «Из всего, что я видел в Берлине, всего более мне нравится здешний аквариум. Вчера я присутствовал при кормлении крокодилов, а сегодня будет кормление змей и удавов, и мне хотелось бы сходить посмотреть, но я боюсь впечатления, производимого удавами, когда им дают живых кроликов. Однажды мне случилось это видеть, и зрелище это произвело на меня ужасное впечатление. Если Вы остановитесь в Берлине, посетите аквариум, милый друг!»

Вечером одиннадцатого марта он уже был в Петербурге. Встречали его оба брата — Модест и Анатолий.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

### «ПРЕМЬЕРА»

Опера «Евгений Онегин» была представлена на суд зрителей семнадцатого марта 1879 года на сцене Малого театра силами учащихся Московской консерватории. Дирижировал оркестром Николай Григорьевич Рубинштейн.

Чайковскому хотелось увидеть свое детище без зрителей, поэтому он очень обрадовался приглашению на генеральную репетицию, полученному от Юргенсона.

В Москву приехал к самому началу репетиции. Тихо прошел в зал, незамеченным уселся в укромном уголке и с огромным удовольствием стал слушать свою оперу.

Разница между представлением и генеральной репетицией заключается лишь в отсутствии публики. Чайковскому публика в зале только мешала.

В антракте к нему подошел Рубинштейн. Долго жал руку, улыбался и, после обмена положенными при встрече расспросами, признался:

— Великолепная музыка ваша, Петр Ильич! Я прямо влюблен в нее.

— Благодарю вас, Николай Григорьевич! — прочувственно ответил Петр Ильич. — Исполнение превосходное, и это, прежде всего, ваша заслуга.

Хотел еще добавить кое-что, но не успел — секундой позже на нем повис рыдающий от умиления и счастья Танеев. Сережа всегда был щедр на слезы.

— Полно, полно... — приговаривал Чайковский, поглаживая Танеева по поддрагивающему плечу. — Сережа, перестань, прошу тебя, не то я сам вот-вот расплачусь...

Успокоился немного Танеев только с началом второго действия. Сел рядом и стал неотрывно смотреть на сцену, машинально утирая рукой слезы, все катившиеся и катившиеся из глаз.

«Солисты, конечно, поют очень старательно, но все же они далеки от идеала, — думал Чайковский, поглаживая бороду. — Но искренность есть, есть теплота, а это, пожалуй, важнее всего».

Декорации и костюмы были безукоризненны. Опера не только хорошо слушалась, но и смотрелась. «Эти часы, проведенные мной в темном уголке

театра, были единственными приятными из всего моего пребывания в Москве», — писал он баронессе фон Мекк.

Премьера вышла громкой. Собралось много публики, до отказа заполнившей зал. Приехал даже родной брат Николая Григорьевича, Антон Григорьевич Рубинштейн, музыкант, дирижер, знаменитый, обласканный и критикой и властью.

Чайковский не собирался быть на премьере, но тут возмутился Николай Григорьевич.

— Петр Ильич! — кричал он, заламывая руки. — Они же придут слушать вашу оперу! Им же непременно захочется выразить вам свое восхищение!

— Вы уверены в отношении восхищения? — саркастически улыбнулся Чайковский. — Может быть, им захочется освистать меня?

— Не захочется! — уверенно отвечал Рубинштейн.

Чайковский нехотя согласился присутствовать на премьере.

Коварному Рубинштейну этого оказалось мало.

— Вы не можете просто сидеть в зале... — продолжил он.

Что поделать — Чайковскому пришлось согласиться на выходы на сцену в случае вызовов.

Вдобавок ему подготовили сюрприз — перед самым началом Николай Григорьевич позвал Чайковского на сцену, где в присутствии чуть ли не всей консерватории во главе с профессорами поднес Чайковскому под громкие рукоплескания лавровый венок.

— Так неожиданно... — вырвалось у Петра Ильича.

— Так заслуженно! — парировал Николай Григорьевич и произнес короткую, но весьма эмоциональную речь, восхваляющую виновника события.

Чайковскому пришлось в ответ сказать несколько слов.

«Чего это мне стоило, единому богу известно!» — признается он баронессе фон Мекк.

Сюрприз оказался, увы, не единственным. «В квартете первого акта Ольга сбилась, остальные спутались, замолчали, и, наконец, заиграл один оркестр, причем певцы имели очень смущенный вид и запели, наконец, при конце в различных тонах. Это была ужасная минута, — вспоминал Петр Ильич в письме к Надежде Филаретовне и добавлял: — Были и еще промахи».

Во время антрактов его много вызывали. Только его, а не исполнителей, которые особенного восторга у слушателей не вызвали. Сильные рукоплескания раздались среди представления всего лишь два

раза.

Премьера «Евгения Онегина» стала личным триумфом композитора Чайковского. Успехом, который не пришлось делить ни с кем!

После представления был дан ужин в Эрмитаже, на который явился Антон Рубинштейн. Начало ужина было невеселым — Николай Григорьевич был заметно недоволен тем, что публика весьма прохладно оценила старания исполнителей, отдав большую долю симпатий автору произведения, но затем, после нескольких тостов, все развеселилось и закончился ужин хорошо.

Чайковский сильно устал и весь изнервничался. Он пришел домой в четыре часа с головною болью и промучился остаток ночи, так и не заснув.

Выспался в поезде (специально поехал почтовым, чтобы не встретиться ни с Антоном Рубинштейном, ни с кем-то еще из петербуржцев, приезжавших на премьеру) и приехал в Петербург свежим, как огурчик.

Антон Григорьевич Рубинштейн уже в Петербурге заявил, что «будничное либретто погубило всю оперу».

Чайковский воспринял эти слова спокойно.

Измененную концовку (Татьяну в объятиях Онегина) многие критики, заманившие в свои ряды аж самого Тургенева, сочли кощунственной и потребовали привести оперу в соответствие с оригиналом.

Чайковский привел концовку в соответствие.

За последний год он стал спокойнее, мудрее. То ли окреп душой, то ли огрубел.

Правда, к визитам Антонины Ивановны Чайковский так и не смог привыкнуть. Они по-прежнему выводят его из себя. Антонина Ивановна все та же — бросается на шею, твердит о своей любви, не слушает обращенных к ней слов и много рассказывает о том, как влюбляются в нее разные мужчины. Развода от нее не дожидаться. «По-видимому, ничто в мире не может искоренить из нее заблуждения, что, в сущности, я влюблен в нее и что рано или поздно я должен с ней сойтись», — жалуется Чайковский баронессе фон Мекк.

Неугомонная Антонина Ивановна в Петербурге преследует своего «милого Петичку» столь рьяно, что он покидает Петербург раньше намеченного им же срока. Уезжает в Москву, дожидается там Модеста с его воспитанником и племянницу Анну, дочь сестры Сашеньки, чтобы вместе с ними ехать в Каменку.

Антонина Ивановна устремляется вслед за ним (он сам виноват — опрометчиво дал ей сто рублей сверх оговоренного на возвращение домой)

и продолжает донимать его в Москве.

Теперь она требует не любви, а денег. Заявляет, что хочет уехать за границу, ибо ей не нравится то, как к ней относятся в России.

Стреляного воробья на мякине не проведешь — Чайковский прекрасно понимает, что она собирается преследовать его и за рубежом.

Мягкий, покладистый, деликатный, он, не особо утруждая себя выбором выражений, заявляет, что свыше ста рублей ежемесячного содержания Антонина Ивановна от него ничего не получит.

Он прекрасно понимает, что, получив желаемое, Антонина Ивановна не отстанет от него. Будет требовать еще, еще и еще...

Он прекрасно понимает, что, Антонина Ивановна никогда не согласится на развод...

Поэтому он гонит ее прочь и (в который уже раз!) запрещает писать ему и тем более наносить визиты.

— Пошла вон, гадина! Знать тебя не хочу!

Баронесса фон Мекк привычно сочувствует: «Бедный Вы, бедный, какое тяжкое положение Вам послала судьба; как трудно бывает возвратить себе раз потерянную свободу. Да пошлет Вам бог силы и здоровья переносить это несчастье, но мне кажется, что все-таки надо бы стараться освободиться из этого положения, а теперь пока, конечно, бежать подальше от этого кошмара...»

Алеша сочувствует и мягко намекает на то, что кроме коньяка есть и другие напитки... Квас, например, или чай.

К черту квас!

К черту чай!

К черту Антонину Ивановну!

Почему он не царь Иоанн Васильевич? Повелел бы отрубить ей голову и жил бы спокойно! Нет, лучше заточить в монастырь. Рубить головы как-то, знаете ли, не комильфо...

Впервые в жизни он с удовольствием читает русскую прессу.

Пресса отзывается об «Онегине» без особых восторгов, но в целом пишет об опере хорошо, что не может не радовать Петра Ильича.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### «МАРЬЯЖНАЯ ДИСПОЗИЦИЯ»

«Мой милый, обожаемый друг! Пишу Вам в состоянии такого упоения, такого экстаза, который охватывает всю мою душу, который, вероятно, расстраивает мне здоровье и от которого я все-таки не хочу освободиться ни за что, и Вы сейчас поймете почему. Два дня назад я получила четырехручное переложение нашей симфонии, и вот что приводит меня в такое состояние, в котором мне и больно и сладко. Я играю — не наиграюсь, не могу наслушаться ее. Эти божественные звуки охватывают все мое существо, возбуждают нервы, приводят мозг в такое экзальтированное состояние, что я эти две ночи провожу без сна, в каком-то горячечном бреде, и с пяти часов утра уже совсем не смыкаю глаза, а как встаю наутро, так думаю, как бы скорее опять сесть играть. Боже мой, как Вы умели изобразить **и** тоску отчаяния, и луч надежды, **и** горе, и страдание, и все, все, чего так много перечувствовала в жизни я и что делает мне эту музыку не только дорогою как музыкальное произведение, но близкою и дорогою как выражение моей жизни, моих чувств. Петр Ильич, я стою того, чтобы эта симфония была моя: никто не в состоянии ощущать под ее звуки то, что я, никто не в состоянии так оценить ее, как я; музыканты могут оценить ее только умом, я же слушаю, чувствую и сочувствую всем своим существом. Если мне надо умереть за то, чтобы слушать ее, я умру, а все-таки буду слушать...»

«Я всю прошлую ночь видела Вас во сне, — писала она теперь, — Вы были такой славный, мое сердце рвалось к Вам...»

«Если бы Вы знали, как я люблю Вас. Это не только любовь, это обожание, боготворение, поклонение...»

«Сегодня буду играть в четыре руки Ваши сочинения, буду восхищаться и возбуждаться...»

Она стареет и становится все откровеннее и откровеннее.

Он прощается с молодостью и становится все сдержаннее и сдержаннее.

Она любит его и порой доходит чуть ли не до безрассудства.

Он понимает, что никогда не сможет быть подле нее, что дружеская переписка — это вершина их отношений, и прилагает все усилия для того, чтобы сохранить существующее положение вещей.

«Мои отношения к Вам, таковы, как они теперь, составляют для меня величайшее счастье и необходимое условие для моего благополучия. Я бы не хотел, чтоб они хоть на одну йоту изменились. Между тем я привык относиться к Вам как к моему доброму, но невидимому гению. Вся неоцененная прелесть и поэзия моей дружбы к Вам в том и состоит, что Вы так близки, так бесконечно дороги мне, а между тем мы с Вами незнакомы в обыденном смысле слова», — писал он баронессе.

После случайной встречи на дороге в Браилове, где Чайковский и баронесса фон Мекк проехали друг мимо друга, баронесса сразу же призналась: «...я в восторге от этой встречи. Не могу передать, до чего мне стало мило, хорошо на сердце, когда я поняла, что мы встретили Вас, когда я, так сказать, почувствовала действительность Вашего присутствия в Браилове. Я не хочу никаких личных сношений между нами, но молча, пассивно находиться близко Вас, быть с Вами под одною крышею, как в театре во Флоренции, встретить Вас на одной дороге, как третьего дня, почувствовать Вас не как миф, а как живого человека, которого я так люблю и от которого получаю так много хорошего, это доставляет мне необыкновенное наслаждение; я считаю необыкновенным счастьем такие случаи».

Ему жаль ее, жаль себя и, разумеется, жаль своей свободы, которую он непременно утратит, лишившись щедрой материальной поддержки.

Ей хочется действовать... желания, обуздываемые годами, порой принимают весьма причудливые формы.

Однажды она решит, что неплохо бы было познакомить сына Колю с Тасей, племянницей Чайковского, дочерью его сестры Александры Ильиничны. Чем дальше, тем больше нравится ей эта мысль. Их семьи породнятся! Петр Ильич станет ее родственником! Как по-русски называется дядя жены по отношению к матери мужа?

Она морщит лоб, вспоминая нужное слово и вдруг начинает смеяться. Зачем усложнять? Она будет звать его кузеном!

— Мой кузен Петр Ильич Чайковский!

— Мой кузен Петр Ильич!

— Мой кузен Петр!

— Мой кузен!

— Мой!

— Мой!!

— Мой и ничей больше!!!

— Мама! — вбегает к ней в спальню перепуганная младшая дочь Милочка. — Что случилось?! Ты звала на помощь?! На тебя напали

разбойники?!

В руках у Милочки деревянная указка. Она полна решимости сражаться.

Сбегаются слуг и, приходит Юлия.

Юлия в халате, лицо ее выражает недовольство.

— Мила! — строго говорит она, беря сестру за руку и отбирая другой рукой у нее указку. — Как тебе не стыдно! Переполошила всех! Разбудила маму! Ты же видела, что за ужином мама пила порошки от бессонницы.

— Разбойники напали на маму!

Милочка упирается и не хочет уходить. Нельзя оставлять маму одну.

— Иди, Милочка, — просит она. — Не волнуйся за меня, никаких разбойников тут нет.

— Разумеется — нет! — хмурится Юлия. — Кроме тебя во всем Браилове не сыскать ни единого разбойника! Пойдем спать, завтра у нас трудный день.

— Не надо ругать ребенка, — в ее голосе прорезывается металл. — Она ни в чем не виновата. А теперь уходите все! Я хочу спать!

Тихие шаги, скрип двери. Выждав для верности минуту-другую, она неслышно встает с кровати, переносит свечу с туалетного столика на письменный, берет из лежащей на столе стопки и кладет перед собой чистый лист бумаги, обмакивает перо в чернильницу...

Она не хочет, чтобы он знал о том, что письмо написано ночью. Пусть думает, что она пишет ему утром перед отъездом.

Так, вначале — о музыке...

Предложить ему поставить нашу симфонию в Париже, у Колонна, за мой счет...

Теперь можно и о главном: «Знаете, милый друг мой, что мне очень бы хотелось как-нибудь познакомить наших юношей — Тасю и Колю. Мне бы очень нравилось, если бы они могли расти и воспитываться, зная, что они предназначены друг другу, но этот отвратительный свет с его правилами и приличиями совсем ставит меня в тупик, я ничего придумать не могу там, где надо соприкасаться с его требованиями. Но во всяком случае, не придет ли Вам какая-нибудь мысль на способ, которым было бы можно их познакомить, конечно, не беспокоя тут Вас ни на волос...»

Деловая женщина только подумает о чем-то, как в голове уже созрел готовый план действий.

«Нельзя ли было бы, чтобы Вы дали мне какое-нибудь поручение к Тасе, которое я исполню посредством Коли? Ему, вероятно, начальница дозволила бы визиты к Тасе. так как он приезжал бы, по моему

распоряжению, не иначе как с Иваном Ивановичем, человеком почтенных лет и внешности. Как вы думаете об этом, милый друг?»

Не обидится ли Петр Ильич? Не сочтет ли меня бестактной и назойливой?

«Пожалуйста, только говорите мне Ваши мнения так же откровенно и искренно, как я говорю Вам каждую свою думу, каждое желание. Если бы такое знакомство между этими детьми завязалось, то я, конечно, просила бы Вас узнать и сообщить мне, какое впечатление произведет мой юноша на Вашу девицу, чтобы знать, чего держаться дальше. Ведь мы с Вами не будем друг с другом в приличия играть, не правда ли, мой дорогой».

И подробнее, по пунктам:

«Первым актом нашего романа должно быть знакомство молодежи, т. е. только двух героев; затем, если *jeune premier*<sup>[9]</sup> знакомство и перейдем ко второму акту. В этом мы должны заняться зондировкою мнения на этот предмет Александры Ильинишны и Льва Васильевича. Если таковое окажется благоприятным для моих намерений, то мы попросим разрешения при удобном случае представить им моего *pretendant*<sup>[10]</sup>, а сделать это можно в следующем виде. Если на будущий год мы будем в Браилове, то я пошлю своих правоведов, по праву полученного позволения и под предлогом знакомства Коли с Тасею, в Каменку с визитом, конечно, в то время, когда Вы не будете там. Я уже говорила им здесь, когда зашла речь о знакомствах, которые я имела им разрешать, что вот семейство, в котором мне было бы очень приятно, если бы они были приняты, это семейство Давыдовых, сестры Петра Ильича, и Коле очень понравилась эта мысль — он у меня не дикарь.

Затем, если бы и после визита Коли и Саша в Каменку родители Таси сочувствовали моему проекту, то в третьем акте я бы сообщила — Коле о своем желании, о своем выборе, и если бы встретила, на что я очень надеюсь, с его стороны к этому сочувствие, то указала бы ему, что он сам должен стараться приобрести себе хорошее мнение и расположение Таси и ее родных, и время, которое он имеет до осуществления этого проекта, он должен употребить на то, чтобы приготовить в себе хорошего семьянина, умеющего любить и уважать свою жену, всегда заботиться об ней и уметь переносить лишения и труды, неотразимо соединенные с семейною жизнью, одним словом, понять, что *point de droits sans devoirs*<sup>[11]</sup> — девиз моей жизни».

И немного кокетства в заключение:

«Что Вы скажете, мой дорогой, на все эти мечты? Я, вероятно, не

доживу до реализации их, если таковой и суждено быть, но я хотела бы при себе положить зерно в землю, а там уж оно вырастет и без меня».

Чайковский был испуган внезапными и грозящими зайти столь далеко планами баронессы фон Мекк. Не хватало еще им сойтись семьями — тогда уж точно дружбе скоро придет конец.

Но как отказать — она наверняка обидится. Непременно обидится, со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями. Крайне нежелательными последствиями, надо признать.

Ответил он ей предельно дипломатично: «Мне кажется, что ни в каком случае не следует ни тому, ни другой знать о наших планах. Тасе нельзя дать понять, что для нее предназначается мужем Коля, потому что, будучи совершенным ребенком, она вообразит себе, что учиться нечего. Мечты о предстоящем счастье (она с самых ранних лет мечтает о муже и детях) могут отвлечь ее и без того рассеянную головку от уроков и занятий, могут внушить ей высокое о себе мнение, ну, словом, сбить с толку. Но еще менее я нахожу возможным указать теперь Коле на Тасю как на будущую его жену. Не забудьте, милый друг, что в шестнадцатилетнем юноше и притом таком развитом, как Коля, уже наверное пробудились инстинкты мужчины, что несложившаяся, некрасивая, ребячески наивная девочка не может теперь ему нравиться, что юношам, только что вышедшим из отроческого возраста, по большей части брак представляется скучной обузой, и поэтому он даже может проникнуться невольной антипатией к девочке, которая будет ему предназначена в супруги».

Тут же подслащает пиллюлю: «Нет никакого сомнения, что из любви к Вам Коля поступит согласно Вашему желанию, но что может выйти хорошего из брака, который устроился только в угоду нежно любимой матери? Что, если указанная ему Вами подруга жизни не будет для него представлять ничего, кроме Вашей избранницы? Могут ли быть прочны подобные супружеские сочетания?»

Добавляет меду: «Я говорил сегодня с сестрой и зятем о задуманных нами планах. Нужно ли говорить Вам, что осуществление этих планов представляется им величайшим счастьем. Они знают, как я чту Вас, они давно всей душой Вас любят, и Ваш сын не может не быть для них желанным зятем».

И, верный своей привычке откладывать все неприятное на потом, предлагает: «Зимой сестра с дочерьми и с мужем будет жить в Петербурге. Они были бы донельзя рады, если б Коля и Саша познакомились с ними. Для этого не нужно никакого предлога, никакого искусственно придуманного повода. Пусть Коля и Саша в одно прекрасное утро

побывают у сестры, адрес которой я впоследствии сообщу Вам».

До зимы еще два месяца, авось обойдется.

Надежда Филаретовна продолжит обсуждение этой скользкой и чреватой последствиями темы. Чайковский убедит ее, что лучше отложить планируемое знакомство не до зимы, а на несколько лет.

«Совершенно немыслимо, чтобы юноша столь развитый, как Коля, видя Тасю рядом с старшими сестрами, мог по непосредственному влечению склониться в сторону первой, — напишет он. — А хорошо ли для счастья наших молодых людей, если в сердце его не сразу заронится искра симпатии к ней? Другое дело — через два, три, четыре года, когда Тася, в свою очередь, начнет расцветать и физически и умственно, а сестры ее уже сделаются по возрасту совершенно неподходящими для мальчика, каковым Коля все еще будет в то время...

Что Тася не будет нехорошим человеком, это я и теперь знаю, ибо из такого любящего сердца не может с годами сделаться дурное. Но будет ли она женщина, способная осчастливить мужа, этого ни я и никто из близких не знает. Характер ее очень странный, неровный, и воспитание ее стоило много труда, много слез всем, кто руководил ею, начиная с матери. Я надеюсь, что все шероховатости сгладятся со временем, но когда идет речь о том, чтобы уже теперь связать ее судьбу с сыном Вашим, то моя обязанность сказать: подождем».

Периодически Петр Ильич в своих письмах будет писать о Тасе. Увы, характеристики будут нелестны:

«Вот эта непостижимая неровность характера Таси и заставляет меня часто задумываться!»

Или же: «Это очень, очень странный ребенок, в котором несомненно хорошие качества сердца с проявлениями злобы и крайней капризности так перемешаны, что становишься иногда в тупик».

Баронесса фон Мекк настойчива и упорна. Не Тася, так Вера, какая, в сущности, разница? «Надо еще Вам сказать, милый друг мой, что во мне произошла маленькая перемена в деле будущей судьбы наших детей, а именно: я давно уже сделала такое наблюдение в жизни, результатом которого явилось убеждение, что в супружестве женщина должна быть старше мужчины, а в последнее время я еще больше и окончательно убедилась в этом. Вследствие того я нахожу, что гораздо было бы лучше, если бы нам удалось соединить Колю с Верою, а не с Тасею, тем более что в нее влюбиться он может сейчас, так как она взрослая барышня. Я думаю, они оба будут одних лет: Коле 16 апреля кончилось семнадцать лет. А для меня очень желательно, чтобы он как можно скорее попал на мысль

заслуживать себе жену в семействе Александры Ильинишны, для того чтобы не влюбился ни в кого в Петербурге. так как он бывает у товарищей, где у всех есть сестры».

Ах уж этот Петербург! Коварный, прельстительный, зловещий... Разве можно найти там приличную жену? Да никогда!

«Относительно наших планов соединить Колю с одной из племянниц моих скажу Вам, что для меня одинаково желательно, чтобы он избрал ту или другую, ибо я одинаково сильно люблю (хотя и каждую по-своему) всех четырех. Определить же, которая из них лучше всего будет соответствовать условиям их обоюдного счастья, я в настоящую минуту не могу. Только время может уяснить мои сомнения и колебания в разрешении этого вопроса. А покамест мне остается только от души сожалеть, что до сих пор еще не состоялось ознакомление Ваших юношей с семейством сестры, и желать, чтобы это как можно скорее случилось», — ответит Чайковский.

Время работает на него — в ноябре 1881 года Вера выйдет замуж. За Колю, но за другого Колю, а точнее за Николая Александровича Римского-Корсакова, адъютанта великого князя Константина Николаевича, блестящего морского офицера и будущего губернатора Архангельской губернии.

Чайковский сообщит баронессе фон Мекк о предстоящей свадьбе племянницы и добавит: «Милый друг, я всегда подозревал, что мысль Ваша и моя мечта соединить судьбу этой чудесной девушки с судьбою Коли трудно осуществима ввиду того, что ей уже девятнадцать лет, а Коле нужно еще три года оставаться в училище. И вот подозрение мое оправдалось. Но мне тяжело отказаться от надежды породниться с Вами, и я осмелюсь выставить новую кандидатку — Анну. Этой милейшей девочке только что минуло шестнадцать лет; она не так красива, как ее две старшие сестры, но очень симпатична и замечательно умна. Итак, дорогая моя, было бы весьма желательно, чтобы Коля мог зимою побывать в Киеве и познакомиться с семейством сестры».

Несгибаемая женщина ответит: «Что же касается моих планов, то я все еще не теряю надежды на возможность осуществления их в другой форме. Есть еще Анна, есть Наташа, авось и мне с моим кандидатом посчастливится. А он ужасно мечтает о том, чтобы на масленице поехать в Киев к Александре Ильинишне, и я очень бы желала, чтобы это исполнилось».

«Капля камень точит», — гласит известная поговорка.

«Коля влюблен уже выше ушей. Одно из своих писем из Каменки он

начинает следующими словами: "Дорогая мамочка, участь моя решена: или Анна Львовна, или никто!" А я его всё понемножку стараюсь сдерживать, чтобы курс окончил», — с радостью написала баронесса фон Мекк летом 1882 года.

«Анна писала вчера, что посещения Коли доставляют ей величайшее удовольствие», — в свою очередь пишет Чайковский.

В январе 1884 года Коля женится на Анне Давыдовой.

«Анна мне очень, очень нравится. В ней есть такая прелестная смесь самостоятельности и самоуверенности с какою-то детскою робостью и покорностью, что она совершенно очаровывает сердце. К тому же в ней много ума, бездна такта, и везде видно прекрасное воспитание. Одним словом, я лучшего ничего не могла желать для моего сына и горячо благодарю бога, внушившего мне эту мысль, и Вас, мой дорогой друг, моего единственного пособника в этом важном деле и даже больше, чем пособника, потому что Вы именно указали мне Анну», — напишет Чайковскому баронесса фон Мекк

В 1919 году по постановлению судебного заседания Коллегии ОГПУ Николай Карлович фон Мекк был расстрелян как участник контрреволюционной вредительской организации на железной дороге.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ «ХАНДРА»

Мухи, как черные мысли, весь день не дают мне покою:  
Жалят, жужжат и кружатся над бедной моей головою!  
Сгонишь одну со щеки, а на глаз уж уселась другая,  
Некуда спрятаться, всюду царит ненавистная стая.  
Валится книга из рук. разговор упадает, бледнея...  
Эх, кабы вечер придвинулся! Эх, кабы ночь поскорее! [\[12\]](#)

Алешу призвали на военную службу...

«Бедный, бедный мой Алеша! Вчера я был у него в Покровских казармах. На меня эта душная, грязная казарма, убитый и тоскующий вид Алеши, уже одетого по-солдатски, лишенного свободы и обязанного с раннего утра до вечера быть на ученье, — все это произвело тяжелое и удручающее впечатление!»

Брата Анатолия мучают безответная любовь и вечные неприятности по службе...

Модест, проводящий все время со своим воспитанником, отдаляется от собственной семьи все дальше и дальше...

Сестра Саша страдает припадками, непонятными, но очень сильными болями. Болит голова, болит в правом боку, болит все тело. Спасение одно — впрыскивания морфина. Саша стала истеричной и жизнь свою меряет от одного укола до другого. Вообще-то к морфину, как к панацее, она прибегала с давних пор. «Она и без того уже злоупотребляет им в течение нескольких лет, и очень может быть, что совершенное расстройство всей ее нервной системы есть следствие морфина. Страшно и подумать, чем все это может кончиться», — делится с Надеждой Филаретовной Чайковский, в очередной раз гостящий в Каменке. Вскоре доктора найдут причину болей, но легче больной от этого не станет. Милой, веселой, заботливой хозяйки, на которой держался дом, больше нет — вместо нее на свет родилась очередная страдальца. Такой страдальцей Александра Ильинична останется до самой смерти...

В Каменке теперь грустно. Сестра болеет, племянницы, особенно старшая — Таня, хандрят, тоскуют и то и дело устраивают беспричинные истерики, дела у зятя идут не лучшим образом... Райское место превратилось в какую-то тоскливую, совершенно чужую ему обитель. И

погода не радует — все время дует холодный северный ветер, который Петр Ильич называет «беспощадным».

Осень на дворе, и в душе тоже осень. Он чувствует, что жизнь проходит. Ему вдруг захотелось иметь собственный дом. Пусть небольшой, но уютный, где, кроме него и слуг больше никого не будет. Славный покойный дом, непременно — с садом, где можно будет гулять, не опасаясь встретиться ни с кем...

«Что-то я размечтался, должно быть, обстановкой навеяло», — думает он.

А между тем дела его не так уж плохи.

Даже напротив — хороши.

К празднованию двадцатипятилетия вступления на престол Александра Второго Чайковскому заказывают написать музыкальную картину, изображающую «Черногорию в момент появления русского манифеста о войне».

В Большом театре идет опера «Опричник», которую Чайковский написал (включая и либретто) по одноименной драме И. И. Лажечникова в 1872 году. «Опричник» уже шел в 1894 году на сцене Мариинского театра в Петербурге. А еще в Большом театре готовятся ставить «Евгения Онегина». Чайковского очень интересует — может или не может эта опера удержаться на сцене и сделаться репертуарной. Репертуарная опера приносит своему создателю стабильный доход в виде процента от сборов и, конечно же, способствует росту славы.

Колонн, не устояв перед настойчивостью и щедростью Надежды Филаретовны (да и кто бы смог устоять?), играл в Париже Четвертую симфонию Чайковского. Со всеми положенными похвалами в прессе. На очереди — другие произведения Петра Ильича. Баронесса фон Мекк не удержалась и рассказала Чайковскому, каким именно образом она вызывает у Колонна интерес к его музыке. Чайковский недоволен: «Милый, добрый и благодетельный друг мой! Я несказанно благодарен Вам за то, что Вы писали Colonn'у о новых моих вещах, но скажу Вам откровенно: для меня будет в высшей степени обидно и неприятно, если Вы снова материальным образом будете благодарить его за внимание к моим сочинениям. При подобных условиях исполнение моих сочинений, хотя бы и у такого хорошего артиста, как Colonne, не имеет для меня ничего лестного и даже полезного. Поверьте, что та щедрость Ваша, благодаря которой моя симфония была сыграна, не останется в тайне, если будет повторяться то щекотливое соглашение Ваше с Golonn'ом, которое состоялось нынче. Представьте себе, какой благодарный материал для фельетонистов русских

газет, охотников до сплетен и личностей, если до них дойдет слух о том, что мои симфонии играют в Париже с усердием, не вполне бескорыстным?! Мне кажется, что Colonne вполне порядочный человек и что он не злоупотребит Вашей бесконечной щедростью и пристрастием Вашим к моей музыке. Но ведь ни за что поручиться нельзя. И на всякий случай я решаюсь просить Вас, чтобы Вы на этот раз рекомендовали ему мои сочинения без поддержки этой рекомендации материальным вознаграждением. В первый раз, как мне ни совестно было, что из-за моей симфонии Вы истратили значительную сумму, я все-таки радовался, что благодаря Вашей дорогой дружбе наша симфония будет известна музыкальной публике Парижа, и был Вам бесконечно благодарен за новое проявление Вашей симпатии к моим сочинениям. Теперь, если бы повторилось такое же соглашение, мне было бы только совестно перед Вами и обидно думать, что Colonne лишь при свете кучки золота умеет ценить мои авторские достоинства».

Баронесса фон Мекк возражает: «Ваше последнее письмо меня очень, очень огорчило. Ваше неодобрение моим желаниям и действиям мне чрезвычайно больно. Я говорю по поводу исполнения Ваших сочинений в Париже. Я вижу, что в этом деле наши взгляды совершенно расходятся. Я, как Вам известно, обращаю внимание только на действительную, а не на кажущуюся сторону дела, поэтому для меня имеет значение только сущность дела, а внешностью его я совершенно пренебрегаю. Сущность же дела здесь такова: я, как страстная поклонница Вашей музыки, желаю искренно доставить человечеству, так сказать, разделить с ним то наслаждение, которым пользуюсь сама, слушая Ваши сочинения, но, не обладая сама ни оркестром, ни капельмейстерским даром, я нуждаюсь в исполнителе моего задушевного желания. Случай указывает мне человека, который так же горячо и искренно поклоняется Вашему таланту и к тому же владеет всеми средствами привести мою мечту в исполнение... Я в восторге, что встретила знатока и ценителя дорогого мне предмета и спешу воспользоваться этим...»

«Все, что Вы пишете мне насчет Colonne'a, в тысячный раз доказывает мне, как Вы бесконечно добры, великодушны, идеально деликатны, — ответит Чайковский. — Но я позволю себе заметить, что только тогда соглашусь с Вами насчет благородных свойств Colonne'a, когда он ответит Вам, что и без вознаграждения готов исполнить рекомендованные Вами вещи. Что-нибудь одно: или он действительно находит мою музыку достойною своих программ и тогда он должен отказаться от каких бы то ни было уплат, кроме тех, которые получаются сбором с публики, или же он

неискренно говорит Вам, что любит мою музыку».

Во всем следует знать меру, в том числе и в демонстрации оскорбленного самолюбия. В том же письме Чайковский пишет: «Как бы то ни было, забудьте, ради бога, те, может быть, резкие выражения, которые я употребил, говоря об этом, и поступайте так, как Вам советует Ваш ум и Ваше сердце, в непогрешимости которых, в конце концов, я всегда уверен».

«Орлеанская дева» готовится к постановке в Петербурге...

В Петербурге же проходит благотворительный концерт, составленный исключительно из его сочинений...

Николай Григорьевич играет его музыку в Москве... В консерватории исполняют литургию св. Иоанна Златоуста... Хор поет прекрасно, Чайковскому нравится.

Ореол загадочности, бесконечные разъезды, ласковая благосклонность высших сфер — все это интригует публику и способствует росту его славы больше, нежели музыкальный талант.

Его узнают, его приветствуют, ему устраивают оvationy, его приглашают на обед младший брат императора, который, по негласному мнению света, и является подлинным правителем империи. Во всяком случае, государь император не принимает ни одного мало-мальски важного решения, не посоветовавшись с братом.

«В будущую пятницу я должен обедать у вел. кн. Константина Николаевича, который всегда протезировал мою музыку и влияние которого мне может оказаться весьма нужным. Вы можете себе представить, до чего мне, привыкшему теперь быть избавленным от всяких тягостей в сношениях с людьми, тяжела будет подобного рода высокая честь», — то ли хвалится, то ли жалуется он в письме к баронессе.

Нравится он и сыну Константина Николаевича, Константину Константиновичу, молодому повесе, интересующемуся музыкой и прочими радостями жизни. «У вел. кн. Константина Николаевича есть сын Константин Константинович. Это молодой человек двадцати двух лет, страстно любящий музыку и очень расположенный к моей. Он желал со мной познакомиться и просил мою родственницу, жену адмирала Бутакова, устроить вечер, на котором бы мы могли встретиться. Зная мою нелюдимость и несветскость, он пожелал, чтобы вечер был интимный, без фраков и белых галстуков. Не было никакой возможности отказаться. Впрочем, юноша оказался чрезвычайно симпатичным и очень хорошо одаренным к музыке. Мы просидели от девяти часов до двух ночи в разговорах о музыке. Он очень мило сочиняет, но, к сожалению, не имеет времени заниматься усидчиво».

Чайковский стал медлителен в движениях, держится с достоинством, говорит веско, немногословно. Порывистость движений, непосредственность характера, бурное выражение чувств теперь проявляются только наедине с близкими или с самим собой.

Он жалуется ей: «Со всех сторон я получаю изъявление теплого сочувствия к моей музыке, а между тем... меня тянет отсюда куда-нибудь как можно дальше. Целое утро и до самого обеда я просиживаю над корректурами нескольких моих партитур, печатающихся разом. Обедаю и вечер провожу в гостях. Возвращаюсь домой усталый до изнеможения, плохо сплю и тоскую невыразимо. Отчего? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Жизнь в деревне и за границей приучила меня быть свободным, здесь я раб, ибо должен подчиняться различным тягостям, сопряженным с сочувствием, выражения которого повсюду встречаю».

Пребывание в столицах он называет теперь «петербургское и московское пленение».

Но в глубине души он радуется признанию его таланта.

Все было сделано им правильно.

Он поступил правильно, когда отверг карьеру правоведа.

Он поступил правильно, когда решил, что не станет подражать никому из своих предшественников.

Он поступил правильно, когда оставил консерваторию и занялся одним лишь творчеством и ничем более.

Ему не за что упрекнуть себя. Разве что за женитьбу? Но это был приступ безумия, то есть болезнь, а болезни настигают людей помимо их воли. Какие тут могут быть упреки?

А на душе тяжело. В сердце — грусть, а в голове все звучит и звучит Лелино стихотворение, которое никогда ему не нравилось. Оно и сейчас не нравится, но мысли его и впрямь, как мухи, а жизнь действительно больше проживалась в мечтах, чем наяву...

Черные мысли, как мухи, всю ночь не дают мне покою:

Жалят, язвят и кружатся над бедной моей головою!

Только прогонишь одну, а уж в сердце впиалась другая, —

Вся вспоминается жизнь, так бесплодно в мечтах прожитая!

Хочешь забыть, разлюбить, а все любишь сильнее и больше...

Эх! кабы ночь настоящая, вечная ночь поскорее! [\[13\]](#)

Он писал Надежде Филаретовне: «Пока еще не чувствую ни малейшего поползновения написать что-нибудь своего собственного. Иногда мне приходит на мысль, что песенка моя спета, что источник

вдохновения иссяк. Но припоминаю, что и прежде мне приходилось переживать периоды полного отсутствия творческих порывов. Вероятно, когда мой нравственный горизонт просветлеет, явится и охота писать. Но просветлеет ли он? Мне в эту минуту чудятся со всех сторон угрожающие и мне самому и всем, кто мне дорог, несчастья».

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

### «МОГУЧАЯ КУЧКА»

С легкой руки Владимира Васильевича Стасова с 1867 года их прозвали «могучей кучкой».

Их было пятеро.

Милий Алексеевич Балакирев.

Модест Петрович Мусоргский.

Александр Порфирьевич Бородин.

Николай Андреевич Римский-Корсаков.

Цезарь Антонович Кюи.

Еще их называли «Новой русской музыкальной школой», или же «Балакиревским кружком», по имени руководителя, Балакирева.

Скучные немцы называли их просто — «Пятеркой».

Владимир Васильевич Стасов, музыкальный критик, был их общим другом.

Они считали себя последователями Глинки и Даргомыжского, призванными продолжить и их дело. Создавая произведения, предназначенные для народа, говоря на языке, понятном широким слоям слушателей, они вступили в конфликт с консерваторами, которых часто называли «реакционерами». Их ругали, над ними смеялись, их не понимали, а они продолжали делать свое дело. «Товарищество Балакирева победило и публику, и музыкантов. Оно посеяло новое благодатное зерно, давшее вскоре роскошную и плодovitейшую жатву», — писал Стасов.

Они занимались не только музыкой. Открыли Бесплатную музыкальную школу, много выступали в печати.

Конечно же, баронесса фон Мекк не могла не поинтересоваться мнением Чайковского о членах «Могучей кучки». Однажды она написала ему: «Вот я из наших композиторов никак не могу оценить Римского-Корсакова; по- моему, у него-то жизни нет. "Хороший контрапунктист", — да что же в этом, это хорошо для того, чтобы давать и поправлять задачи в консерватории, а в музыке, в сочинении они должны иметь жизненный смысл... Я в его музыке слышу человека, конечно, сведущего, но в высшей степени самолюбивого и без сердца. Просветите меня, Петр Ильич, относительно его. У Бородина, мне кажется, и не было большого ума, и тот за разум заехал. Кюи способный, но развращенный музыкант, а

Мусоргский, — ну, тот уж совсем отпетый».

Чайковский ответит:

«Все новейшие петербургские композиторы народ очень талантливый, но все они до мозга костей заражены самым ужасным самомнением и чисто дилетантскою уверенностью в своем превосходстве над всем остальным музыкальным миром. Исключение из них в последнее время составляет Римский-Корсаков. Он такой же самоучка, как и остальные, но в нем совершился крутой переворот. Это натура очень серьезная, очень честная и добросовестная. Очень молодым человеком он попал в общество лиц, которые, во-первых, уверили его, что он гений, а во-вторых, сказали ему, что учиться не нужно, что школа убивает вдохновение, сушит творчество и т. д... В кружке, к которому он принадлежал, все были влюблены в себя и друг в друга. Каждый из них старался подражать той или другой вещи, вышедшей из кружка и признанной ими замечательной. Вследствие этого весь кружок скоро впал в однообразие приемов, в безличность и манерность. Корсаков — единственный из них, которому лет пять тому назад пришла в голову мысль, что проповедуемые кружком идеи, в сущности, ни на чем не основаны, что их презрение к школе, к классической музыке, ненависть авторитетов и образцов есть не что иное, как невежество...»

О Кюи:

«Кюи — талантливый дилетант. Музыка его лишена самобытности, но элегантна, изящна. Она слишком кокетлива, прилизана, так сказать, и потому нравится сначала, но быстро приедается. Это происходит оттого, что Кюи по своей специальности не музыкант, а профессор фортификации, очень занятый и имеющий массу лекций чуть не во всех военных учебных заведениях Петербурга...»

О Бородине:

«Бородин — пятидесятилетний профессор химии в Медицинской академии. Опять-таки талант, и даже сильный, но погибший вследствие недостатка сведений, вследствие слепого фатума, приведшего его к кафедре химии вместо музыкальной живой деятельности...»

О Мусоргском:

«Мусоргского Вы очень верно называете отпетым. По таланту он, может быть, выше всех предыдущих, но это натура узкая, лишенная потребности в самосовершенствовании, слепо уверовавшая в нелепые теории своего кружка и в свою гениальность. Кроме того, это какая-то низменная натура, любящая грубость, неотесанность, шероховатость...»

О Балакиреве, отце-основателе «Могучей кучки»:

«Самая крупная личность этого кружка Балакирев. Но он замолк, сделавши очень немного. У этого громадный талант, погибший вследствие каких-то роковых обстоятельств, сделавших из него святошу, после того как он долго кичился полным неверием. Он теперь не выходит из церкви, постится, говеет, кланяется мощам, и больше ничего. Несмотря на свою громадную даровитость, он сделал много зла. Например, он погубил Корсакова, уверив его, что учиться вредно...»

Петр Ильич мог быть весьма резок в характеристиках, даваемых собратям по искусству. Например, о пианисте и дирижере Петре Адамовиче Шостаковском он отзывался так: «Шостаковский — совершеннейший нуль, ничтожество, случайными обстоятельствами возведенное на высоту выдающегося таланта».

В музыкальной среде, как и в жизни, Чайковский предпочитал держаться особняком.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ «БЛАГОДЕТЕЛЬ»

Из Полтавы ему еще никто не писал. Письмо вызвало удивление и любопытство.

Фамилия Ткаченко, выведенная небрежным почерком, ни о чем не говорила. Инициалы «В» и «А» тоже. Он еще раз прочитал свой адрес на конверте и, убедившись, что письмо точно адресовано ему, взял со стола серебряный ножичек для писем, подарок Модеста, и вскрыл конверт.

Письмо, написанное тем же небрежным почерком, что и адрес, начиналось с восхваления его заслуг перед «Ее Величеством Музыкой», после чего незнакомый корреспондент, звавшийся, кстати, Василием Андреевичем, переходил к делу — начал рассказывать о себе.

Он писал, что питает к музыке (постоянно титулуя музыку «Ее Величеством») неистребимую страсть, желает посвятить себя ее изучению, но, увы, не имеет для этого средств. Василий Андреевич нашел оригинальный способ решения своих проблем — предложил себя в лакеи «господину Чайковскому», вместо жалования попросив «музыкальных уроков».

Прочитав письмо, Петр Ильич закурил папиросу и призадумался. Послание господина Ткаченко понравилось ему своей искренностью и грамотным изложением мыслей. Чувствовалось, что Василий Андреевич пишет о наболевшем, пишет о том, что долго созревало в его душе.

Петру Ильичу захотелось ответить на письмо. Ему, находящемуся под сенью покровительства дорогой Надежды Филаретовны, вдруг вздумалось попробовать себя в роли благодетеля. Должно быть это очень приятно.

Ответ вышел кратким:

«Милостивый государь Василий Андреевич!

С удовольствием прочитал ваше письмо. Признаться, я был очень тронут.

Позвольте принести Вам мою искреннейшую благодарность за столь обильное восхваление моих скромных заслуг.

К сожалению, я не могу принять Ваши услуги в качестве лакея, но могу содействовать Вам в способах приобретения музыкального образования, если Вы сообщите мне ваш возраст и убедите меня, что Вы достаточно способны, чтобы Ваше учение привело к чему-нибудь.

Искренно Вас уважающий П. Чайковский».

Запечатывая конверт. Петр Ильич был уверен, что ответа не получит, но ошибался — второе письмо от Василия Андреевича пришло дней через десять.

Тон его был не восторженным, а скорее печальным. Печальным, как судьба Василия Андреевича Ткаченко.

Василий Андреевич писал, что ранее он музыке не учился, но имеет исключительные способности в «подборе мелодий по слуху». Лет Василию Андреевичу было двадцать два, происходил он из кубанского казачества, в Полтаве работал официантом в ресторане «Марсель», жены и детей не имел, но имел горячее желание учиться музыке.

Петр Ильич не стал обнадеживать человека зря — откровенно написал в ответном письме, что в двадцать два года начинать учиться музыке поздно и что ему следует оставить манию спою к музыке.

Ответа не последовало, вернее ответное письмо пришло только на следующий год, в канун Рождества, когда Петр Ильич приехал на несколько дней в Москву из Каменки по неотложным делам.

Конверт был толст, грязноват и небрежно заклеен. Обратного адреса на конверте не было, зато был штемпель воронежского почтамта. Когда Чайковский вскрыл конверт, на стол выпали три сложенных листа бумаги, два из которых были его же собственными письмами, отправленными господину Ткаченко, а третий представлял собой новое письмо Василия Андреевича.

Не письмо, а крик отчаявшейся души.

И не новое, а последнее — Василий Андреевич прощался со своим кумиром и писал, что решился на самоубийство, так как борьба с невзгодами жизни и безнадежность выйти когда-нибудь из положения человека, работающего только из-за куска хлеба, внушили ему отвращение к жизни. Отчаяние сквозило в каждом слове несчастного, горем были пропитаны кривоватые строчки, забегающие одна на другую.

Петр Ильич не стал долго раздумывать, что ему следует предпринять, чтобы спасти несчастного, благо брат Анатолий уже перевелся по службе в Москву и жил недалеко — на Садовой, близ Кудрина, в доме Быкова.

Алеши с ним уже не было — несчастный томился в казарме среди грубых товарищей по несчастью. Фельдфебель невзлюбил его и постоянно придирался, хорошо хоть командир полка оказался симпатичным человеком и к тому же почитателем Чайковского. Он обещал взять бедного мальчика под свое покровительство.

Алеше предстояло провести в солдатах пять лет.

Целых пять лет!

Нескончаемо долгих пять лет!

Это было невозможно представить себе. А еще невозможно было представить, каким вернется Алеша... Вдруг он огрубеет, очерствеет душой, наберется дурных привычек и станет истинным солдафоном? О, как это ужасно! Ужасно и бессмысленно! Что потеряла бы Российская империя, позволив Алеше пренебречь воинской службой? Да ничего она не потеряла бы! Напротив — нескольких своих подданных сделала бы счастливыми — самого Алешу, мать Алеши, Петра Ильича...

«Он же писал о том, что хочет поступить ко мне в услужение», — кстати, вспомнил Чайковский, и его желание помочь незнакомцу усилилось. Без Алеши приходилось тяжело. Надо было самому вникать во множество мелочей, засорять память никчемными сведениями, тратить больше трудов в удовлетворении обычных ежедневных потребностей, а это все раздражало. Он дважды пробовал нанимать слуг. Брал их по рекомендации знакомых, которым доверял, но оба кандидата пришлись не ко двору. Один оказался непроходимо туп, и к тому же нечист на руку, а второй вечно шмыгал носом и не любил мыться. А Василий Андреевич, если судить по письму, натура одухотворенная и тонко чувствующая. Вдруг ему удастся заменить Алешу кем-то похожим?

Анатолий Ильич не удивился внезапному и довольно позднему визиту брата.

— Опять она? — спросил он, думая, что Петру Ильичу вновь досаждают Антонина Ивановна.

— Нет, Толя, со мной все нормально, — отвечал слегка запыхавшийся брат, только что поднявшийся бегом по лестнице. — Я хочу знать — нет ли у тебя знакомых в Воронежском полицейском управлении?

— Надворный советник Стоиков, Леонид Аристархович, — тут же ответил Анатолий. — Мы вместе кончали училище.

— Я могу телеграфировать ему, сославшись на тебя? С просьбой срочно найти в Воронеже одного человека?

— Можешь, но...

Петр Ильич уже сидел за рабочим столом брата и писал телеграмму. Тремя минутами позже Антон, слуга Анатолия, отправился на почтамт, а Петр Ильич принял немного коньяку, чтобы успокоиться и рассказал брату о несчастном Ткаченко.

Надворный советник Стоиков оказался дельным человеком — в считанные часы отыскал в Воронеже Василия Андреевича Ткаченко и телеграфировал в Москву. Обрадованный Чайковский послал ему денег на

дорогу и пригласил приехать в Москву.

И, конечно же, рассказал о своем участии в судьбе несчастного молодого человека в очередном письме к Надежде Филаретовне.

Та предостерегает: «При всем умилении, какое я чувствую, думая о Вашем поступке, я тем не менее очень боюсь, чтобы Вам не досталась тяжелая обуза в лице этого молодого человека. Очевидно, это натура экзальтированная, нервная, а с такими субъектами бывает ужасно трудно нянчиться. Простите, дорогой мой, что я как будто хочу охладить Ваше беззаветно доброе и сострадательное отношение к каждому страждущему, но Вы мне ближе, чем этот юноша, и я боюсь за Вас. Спасти его от смерти и дать ему средства к жизни очень хорошо, но брать на свое попечение опасно».

Ответ Василия Андреевича неприятно поразил Чайковского. Он ждал благодарностей, а вместо них нарвался на отповедь. Ткаченко писал: «Напрасно Вы, Петр Ильич, беретесь уверять меня в существовании добродетели. Я успел убедиться, что добродетель в людях иссякла. Как бы Вы не старались, Вам все равно не удастся доказать мне, что стоит жить на свете». Он также писал, что в деньгах, которые ему послал Чайковский, он не нуждается и прекрасно обойдется без них.

Заканчивалось письмо неожиданным обещанием приехать в Москву и выслушать Чайковского. Выглядело это так, словно Василий Андреевич оказывал ему великую милость.

«Что он себе возомнил?» — подумал Петр Ильич и дал себе слово, что не станет разговаривать с Ткаченко, если тот и в самом деле вздумает явиться к нему, а сразу же укажет тому на дверь. Хватит с него и одной ненормальной — Антонины Ивановны!

— Здравствуйте, Петр Иванович! Я тот самый Василий Андреевич Ткаченко!

Выставить вон человека с такими большими глазами, доверчиво смотрящими на него, таким нежным, прямо юношеским румянцем на щеках оказалось решительно невозможно. Он принял у гостя пальто и шапку и усадил его пить чай. Василий Андреевич так стеснялся, что пришлось взять его за руку и чуть ли не силой вести в гостиную.

Пока Сеня, сын дворничихи, временно взятый на место Алексея в Москве, возился с самоваром, Василий Андреевич сидел на стуле и премило смущался. За чаем понемногу освоился и начал рассказывать о себе.

С раннего детства он рос натурой артистической, жадно искавшей в жизни красоту. Семейная обстановка его была ужасной — отец-деспот,

мать-истеричка, тупые, ограниченные сестры и братья. В семье царили невообразимая нравственная распущенность вкупе с жестокостью и насилием. Несчастный Вася, все детство которого было бесконечным страданием, никак не мог пристроиться в жизни, испытывая всегда и повсюду везде неудачи и горести, и в результате решился на самоубийство.

Чайковский смотрел на горемыку и чувствовал, как душа его наполняется состраданием и симпатией к Василию Андреевичу.

— Куда только не бросала меня жизнь — даже кондуктором при железной дороге довелось побывать. Представляете, Петр Ильич, каково с моей болезненной застенчивостью билеты у публики проверять и с безбилетниками спорить?!

Одет Василий Андреевич был опрятно, но бедновато. Руки имел ухоженные, благородные.

Порой выказывал странноватые суждения, вроде того, что избрал для себя музыкальное поприще, потому что любит услаждать слух пением птиц, но Петр Ильич отнес это за счет действия коньяка, которым он угостил приятного юношу после чая.

Кстати говоря — в услужение Чайковскому Василий Андреевич более не рвался. Наоборот — сообщил, что «устал от вечного халдеинства в официантах».

— Мы поступим следующим образом, — решил Чайковский в заключение. — Я отдам вас, Василий Андреевич, на это полугодие в консерваторию, а там будет видно. Деньгами я вам помогу на первых порах, чтобы вы смогли устроиться в Москве.

— Ох, Петр Ильич! — молодой человек аж засветился изнутри, словно лампадка. — Как же я вам благодарен! Благодетель вы мой! Господь послал вас мне в награду за терпение!

Бросился было целовать благодетелю руки, но был вовремя остановлен и усажен на место.

— А о деньгах не беспокойтесь, умоляю вас! У меня еще осталось из тех, что вы, Петр Ильич, на дорогу мне высылали! Я на них два, если не три месяца, протяну. Много ли мне надо?

«Какая честная, искренняя и благородная душа, — умилился Петр Ильич. — Чистая душа».

Ткаченко поселился в дешевых меблированных комнатах где-то на Басманной и начал заниматься в консерватории. Учился он усердно, целыми днями просиживал за инструментом, но успехами своего благодетеля не порадовал. Напротив — во время одной из встреч с Чайковским устроил ему настоящий скандал. Ни с того ни с сего стал

кричать, что Петру Ильичу нечего рассчитывать на благодарность с его стороны, поскольку он прекрасно понимает, ради чего Петр Ильич оказал ему содействие и помощь.

— Вы хотите заслужить репутацию благотворителя! Хотите, чтобы о вас много говорили, как о дамах, занимающихся благотворительностью ради моды! — кричал сквозь слезы Василий Андреевич. — Знайте же, что я желаю быть жертвой вашей слабости к популярничанию, и не смейте надеяться, что я стану считать вас своим благодетелем!

«Я отвечал ему очень холодно, что предлагаю ему учиться, как он того хотел, как можно усерднее и вовсе не думать о том, зачем и как я взялся помочь ему в этом деле. Что касается его подозрений, то сказал ему, что мне совершенно все равно, чем он объясняет мои поступки, и что разубеждать его я не имею ни времени, ни охоты; что же касается того, что он не считает себя обязанным быть мне благодарным, то даю ему полную свободу и в этом отношении. Затем сказал ему, что уезжаю, что видаться с ним не буду, и просил его вообще обо мне не думать, а думать лишь единственно о своем учении», — писал Чайковский об этом досадном инциденте баронессе.

Баронесса фон Мекк выскажется на сей раз довольно резко: «Насчет Вашего protégé Ткаченко, простите меня, милый друг мой, скажу Вам, что он мне очень, очень не нравится и что я бы ему дала совсем другой ответ. Ваш слишком возвышен, слишком великодушен для такой дрянной натуры, а я бы ему дала ответ самый логичный: он не хочет быть жертвой, я не считала бы себя вправе навязывать ему такое положение и предоставила бы ему самому заботиться о себе. Это, во-первых, человек без сердца, потому что, если бы оно у него было, он бы не мог, если бы даже и хотел, не быть благодарным. Во-вторых, человек, должно быть, без всякого образования и нравственных понятий, а начитавшийся всяких книжек и наслушавшийся учения нигилистов. Самолюбие и желание отличаться непомерные, вот он и кувыркается, чтобы обратить на себя внимание и удивлять, по его мнению, отсталые понятия. Такие натуры, на мой вкус, отвратительны, они гроша не стоят, и их, как дурную траву, следует вырывать из полей».

Через несколько дней Ткаченко явился с извинениями.

— Простите меня, Петр Ильич, — лепетал он, опустив глаза. — Страдания, перенесенные в детские годы, привели к тому, что порой я делаюсь будто бы сам не свой и начинаю молоть всяческую чепуху. Право, мне так неловко перед вами, что я готов наложить на себя руки, если это поможет мне заслужить ваше прощение.

«Он действительно сумасшедший, да еще одержимый навязчивыми

мыслями о суициде», — подумал Чайковский.

Спустя полчаса успокоившийся Василий Андреевич ушел восвояси. Чайковский чувствовал себя прескверно — болел затылок, стучало в висках...

«Я определенно не гожусь в благодетели — нет у меня должного терпения», — решил он.

Более они не виделись — Чайковский уехал из Москвы.

Он совсем позабыл о Василии Андреевиче.

Но Василий Андреевич помнил о Чайковском. Интересовался расписанием его поездок, адресами пребывания, словом, собирал все сведения, которые только мог собрать...

Теплым августовским вечером в Каменке поднялся небольшой переполох.

В дом Давыдовых явился тощий, грязный, еле стоящий на ногах оборванец. Оборванцу по распоряжению Александры Ильиничны дали гривенник и попытались спровадить восвояси, но он швырнул подавание под ноги садовнику, выступавшему в качестве герольда, и потребовал:

— Доложи, неуч, господину Чайковскому, Петру Ильичу, что его по приватному делу желает видеть Василий Андреевич.

Садовник доложил. Чайковский музицировал с племянницами и Бобом.

— Гони его в шею, Аким! Я никого не жду! — отмахнулся он. — В шею!

Знакомых бродяжек у Чайковского не было.

Чуть позже со двора раздался шум, сделавший занятия музыкой совершенно невозможными.

— Я умираю, а он не хочет даже взглянуть на меня! — надсаживался такой знакомый голос. — Позови сюда господина Чайковского! Скажи, что это вопрос всей моей жизни.

«Неужели Ткаченко?», — похолодел Петр Ильич и выбежал во двор.

Да, это был Ткаченко. Вернее — его жалкая тень.

Увидев Чайковского, Ткаченко всхлипнул и бросился обниматься.

— Петр Ильич! Милый, дорогой мой Петр Ильич! Неужели это вы?!

Пах Василий Андреевич еще хуже, чем выглядел, — перегаром, луком, немытым телом.

Чайковского замутило. Он отстранил от себя непрошеного гостя и машинально оглянулся на дом. Из всех окон выглядывали любопытные, а Лев Васильевич сошел вниз и молча наблюдал эту некрасивую сцену, стоя в пяти шагах от Чайковского.

— Это мой знакомый, — пояснил Петр Ильич. — Студент консерватории, в котором я принимаю некоторое участие. Нельзя ли вымыть его, накормить и разместить где-нибудь на ночлег?

На следующее утро Александра Ильинична имела неосторожность пригласить Ткаченко позавтракать вместе с ними. Ее можно было понять — вымытый, выпавшийся и переодетый в чистое платье из запасов Льва Васильевича, Ткаченко производил впечатление светского человека.

Во время застольной беседы впечатление сразу же улетучилось.

Сперва Ткаченко во всеуслышание рассказал (при дамах и детях, прошу заметить!), что во время своих странствий он обучился самому изощренному разврату.

Петр Ильич тут же перебил его и принялся расспрашивать об общих знакомых по консерватории, чтобы увести разговор подальше от скользкой темы.

Затем Ткаченко выразил удивление тем обстоятельством, что за завтраком не подают ни водки, ни коньяка.

— У нас так заведено, — пояснил хозяин, — за завтраком мы пьем только чай, кофе или молоко.

Ткаченко некрасиво скривил рот.

Глядя на Петра Ильича, он рассказал, что пьет уже третий месяц по причине стыда, вызванного тем обстоятельством, что он чрезмерно и совершенно необоснованно пользуется расположением «добрейшего Петра Ильича».

Расплакался, разбил тарелку, кричал что-то о своей скорой смерти.

Как взрослые, так и дети, присутствовавшие за столом, были до крайности смущены...

Сплавить Василия Андреевича в Москву удалось, лишь на третий день. После долгих пустых бесед, то и дело перемежающихся уговорами и увещеваниями.

Кроме добрых слов Ткаченко получил сто пятьдесят рублей материальной помощи.

— Я знаю, чем мне отблагодарить вас, Петр Ильич! — сказал он прощаясь. — Я пришлю вам свой дневник

«Все что угодно, только не вздумай являться сам», — подумал Петр Ильич.

Василий Андреевич не соврал. Дневник — толстая растрепанная тетрадь со множеством клякс и помарок пришел бандеролью через три недели. «Теперь я понимаю странность его поступков, — писал по прочтении дневника Чайковский баронессе фон Мекк. — Перенесенные им

бесчисленные невзгоды породили в нем страшную недоверчивость к людям, болезненное самолюбие, вследствие которого он в одно и то же время взывал ко мне о помощи, а потом мучительно тяготился моими заботами о нем, старался объяснить их себе желанием моим заслужить репутацию "благодетеля" и т. д. Из дневника этого я узнал, что бедный юноша совершенно одинок в этом мире, ибо связи с семейством порваны, и что я единственная его поддержка и опора. Оказывается, что он горячо меня любит, хотя по странности болезненной своей натуры не только никогда не мог этого выразить, но, напротив, почти оскорблял меня своими письмами и обращениями. Теперь я знаю, что имею дело с больной, но необычайно благородной и честной натурой».

Отношения Петра Ильича с «больной, но необычайно благородной и честной натурой» постепенно сошли на нет. Ткаченко проучился в консерватории еще год и покинул ее, навсегда исчезнув из жизни Чайковского.

Петр Ильич вспоминал о нем с доброй улыбкой, но больше никогда не брался покровительствовать кому-либо. «Кто на молоке обжегся, тот и на воду дует», — говорят в народе.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

### «СКУЧНЫЕ ДЕЛА»

Каменка, май 1881. Чайковский просит: «Милый друг! мне очень жаль, что я не успел ранее Вас предупредить о следующем обстоятельстве. Получение здесь денег с почты, т. е. из Смелянской почтовой конторы, сопряжено с разными проволочками и длинными формальностями, неприятными для меня в том отношении, что тут является бездна посредников, которым вовсе обо всем этом знать не нужно. Вот почему я хотел просить Вас в случае присылки мне бюджетной суммы во время пребывания моего в Каменке делать это посредством перевода на какой-нибудь киевский банк, а перевод посылать в страховом письме все-таки в Смелу. В Киев отсюда съездить недалеко, да, кстати, все летом получаемые мной деньги я рассылаю, и опять-таки эту рассылку мне приятнее делать из Киева, чем из Каменки, где неизбежны многие посредники».

Композитор и баронесса не желали привлекать к своим отношениям лишнего внимания.

Петр Ильич полностью погрузился в отечественные церковные песнопения. Читает «Историю русской церковной музыки», изучает обиходные напевы, знакомится с порядками богослужения и гармонизирует некоторые древние мелодии. Результатом всего этого должно стать новое духовное сочинение — «Всенощное бдение», положенное на четырехголосный хор.

В Каменке грустно. Сестра продолжает болеть. Племянницу Таню бросил жених — князь Трубецкой, причем бросил обидно, наговорив множество обидных слов практически накануне свадьбы. Таня страдает. Схема страдания стала для нее уже привычной — бессонница, истерики, морфин... Таня очень изменилась за последнее время. Петр Ильич больше не восхищается ею. Он жалеет ее, но, кажется, больше не любит. Он всячески отвлекает Таню от предмета ее грустных мыслей, исполняя тем самым свой родственный долг, но не более того.

Через два года, в 1883 году, Чайковский напишет баронессе фон Мекк: «Племянница моя Таня, вероятно, будет виновницей того, что я не буду больше постоянным жителем Каменки. Я не беру на себя право в чем-либо обвинять ее. Всякий человек действует в жизни в силу своих природных качеств, воспитания, обстоятельств. Но одно знаю:

единственное мое желание — быть всегда как можно дальше от нее. Я могу ее жалеть, но я не могу ее любить. Жить рядом с нею для меня мука, ибо я должен насиловать себя, скрывать свои истинные чувства, лгать, а жить во лжи выше сил моих. Пока она будет в доме родителей (а это, вероятно, будет всегда, ибо едва ли можно надеяться, что она выйдет замуж), Каменка для меня закрыта. По крайней мере, так мне кажется теперь. Чувство это очень мучительное, ибо не только родство, не только нежнейшая любовь ко всему остальному семейству, но и привычка сделали то, что только там я считаю себя дома. Дай бог, чтобы чувство это изменилось и чтобы болезненно мучительное ощущение, которое один вид этой непостижимой девушки внушает мне, притупилось. Но теперь, проживя при ней более четырех месяцев, об одном только и мечтаю, одного только желаю — быть как можно подальше от нее».

Петр Ильич будет заботиться о Тани до самой ее смерти.

Татьяна Давыдова, бывшая когда-то взбалмошной красавицей, а ставшая неуравновешенной морфинисткой, незадолго до своей смерти родит во Франции мальчика, которого впоследствии усыновит бездетный старший брат Петра Ильича Николай. Роды, замаскированные под лечение расшатанной нервной системы, пребывание ребенка на воспитании во французской семье, усыновление Николаем Ильичом — все это устроит для Тани ее дядя Петр Ильич Чайковский.

Таня умрет в январе 1887 года на бале-маскараде в петербургском Дворянском собрании, не успев отметить свое двадцатипятилетие.

Чайковский написал баронессе фон Мекк «...мы получили здесь известие о неожиданной смерти бедной моей племянницы Тани. Хотя мне, в сущности, часто приходило в голову, что для этой несчастной самый лучший и желанный исход был — смерть, но, тем не менее, я был глубоко потрясен известием. Она умерла в Петербурге, в зале Дворянского собрания, на bal-masque. Из того, что она была на балу, Вы видите, что она была на ногах и даже пыталась пользоваться общественными удовольствиями, но организм ее уже давно был подточен. Это была тень прежней Тани, морфин сгубил ее, и, так или иначе, трагический исход был неизбежен. С ума схожу при мысли о том, как перенесут это горе бедная сестра и зять...»

«Бедная... Татьяна Львовна. Слишком рано рассчиталась с жизнью, хотя, с другой стороны, ей бог послал самую лучшую форму смерти, быструю; я всегда говорю, что так умирать могут только праведники, что это награда, которую бог дает им за безобидную жизнь», — откликнется баронесса.

Другая племянница Петра Ильича — Вера, переживет свою старшую сестру всего на два года.

Но все это будет нескоро... Пока же Петр Ильич продолжает бывать в Каменке. Несмотря на то что гостить там уже не так весело, как поначалу. «Уже давно отлетел от дома сестры и зятя тот дух идеального семейного мира и счастья, который в нем прежде находился постоянно и делал пребывание мое в нем счастливым и приятным. Заранее знаю, что мне там будет невесело и горько, но я так их всех люблю, а с другой стороны, и они так все меня любят и дорожат моим пребыванием, что не могу не водвориться у них по-прежнему на все лето и часть осени. Если б я этого не сделал, то причинил бы всему семейству величайшее огорчение, — признавался он Надежде Филаретовне. — Было время, когда семья эта была невозмутимо и безгранично счастлива. Но с тех пор, как выросла Таня и начала прежде томиться о чем-то и о чем-то неопределенно тосковать, а потом отравлять себя этим проклятым ядом, — отлетело от них счастье! И болезни сестры моей бедной суть прямой результат тревог, причиняемых Таней».

К тому же, увы, ему более никогда не удастся погостить в Браилове. Дела баронессы фон Мекк немного пошатнулись, и она была вынуждена продать Браилов, который приносил ей одни убытки.

Она предложила было имение в аренду Льву Васильевичу Давыдову. «Боже мой! как бы я была счастлива, если бы нашелся человек, который бы взял Браилов в распоряжение так, чтобы мне уж — ни о чем не надо было бы хлопотать, а только получать то, что необходимо, т. е. доходы, и наслаждаться браиловскою природою. Как бы хорошо было, если бы таким человеком был Лев Васильевич!» Дело не выгорело, поскольку у Льва Васильевича не было необходимых средств для аренды — баронесса берет со всех своих арендаторов залог в размере годовой арендной платы, да и желания тоже не было, поскольку все его силы отнимала Каменка, которой он продолжал управлять.

На Браилов обращает внимание князь Горчаков, сын канцлера Александра Михайловича Горчакова. Торгуется, буквально выкручивает руки и в итоге сбивает цену до смешного, покупая огромное имение всего за один миллион четыреста тысяч рублей. Баронесса соглашается, но князь продолжает торговаться из-за мелочей. «Этот князь несноснейший человек: скуп, мелочен, подозрителен, тянет с меня и вещами и деньгами невыносимо. Я с нетерпением жду, когда кончится дело с ним, и боюсь ужасно, что буду иметь еще много возни с ним при получении денег; потому что он уже имел намерение уплатить мне ничего не стоящими

процентными бумагами, но я на это ни за что не согласилась».

Кроме Браилова обстоятельства вынуждают баронессу фон Мекк продать часть принадлежащих ей акций железных дорог. Карл фон Мекк нажил за короткое время огромное состояние старым добрым путем — клал в карман разницу между реальной стоимостью прокладки железной дороги и тем, что готова была платить за это казна. Барон умер, а дело его продолжало жить — приписки, накрутки и прочие виды раздувания стоимости работ, услуг, материалов в корыстных целях практиковались повсеместно, что, конечно же, не могло не сказаться на рентабельности железных дорог. Сказаться негативно, отрицательно. Так, например, Либаво-Роменская железная дорога в 1880 году принесла своей тогдашней владелице Надежде фон Мекк девятьсот семьдесят шесть тысяч рублей чистого убытка. Без малого — миллион!

Разумеется, подобную обузу надлежит как можно скорее сбыть с рук. Надежда фон Мекк так и поступает. Сперва она предлагает выкупить акции правительству, правительство молчит, и тогда акции уходят в частные руки. К немецким кредиторам баронессы.

В прессе немедленно развернулась кампания по травле баронессы, дерзнувшей продать акции русской железной дороги каким-то немцам.

«Вот оно — тевтонское коварство», — неистовствовали журналисты. Рука руку моет, свой своего не обидит. Чего еще ждать от фон Мекков?

Почти все российские газеты вылили на Надежду фон Мекк ушатy грязи, делая это совершенно незаслуженно.

Сразу как-то забывается, что Надежда фон Мекк не немка, что ее девичья фамилия Фроловская. Заодно забывается и то, что правительство само не пожелало выкупать у баронессы фон Мекк акции. «Главное, возмущает то, что ведь на каждом слове ложь, извращение или полнейшее незнание дела, а берутся судить, рядить печатно и так авторитетно класть свои санкции, а у самих, как у "Московских ведомостей", например, ни одного верного сведения нет. Ну, другие, те совсем подлые, и только "Русь" написала все верно, ну, это потому, что там редактор порядочный человек, Аксаков», — писала она Чайковскому.

Окружающие ведут себя не лучшим образом. «По продаже роменских акций я еще далеко не успокоилась и имею кучу неприятностей, — писала Надежда Филаретовна Чайковскому. — Меня хотят эксплуатировать и обирать без всякой совести, и что, конечно, большее всего, так это видеть все эти проявления самых гадких, продажных свойств человеческой натуры, при которых те же люди, которые месяц назад ходили на задних лапках передо мною и старались снискать мои милости, теперь делают мне

самые величайшие гадости, чтобы снискать милости своих новых господ. Иначе я выразиться не могу, потому что ведь это чисто лакейские свойства, хотя и обладают ими тайные советники! Все это меня до глубины души расстраивает и заставляет желать как можно скорее уйти на край света от людской подлости и продажности».

Эта грустная тема всплывет в их переписке еще не раз.

«Сколько подлостей, гадостей, какое продажничество я вижу вокруг себя. Мне здесь невыносимо, я задыхаюсь в этой тлетворной атмосфере. В обоих делах, продаже Роменской дороги и продаже Браилова, я прохожу одни и те же ощущения, одно гаже другого, и, знаете, чем дольше это тянется, тем невыносимее становится любоваться на то, как люди, которые два месяца назад гнули спину передо мною, угождали и уверяли в преданности и уважении, теперь придумывают мне всевозможные гадости, чтобы вытянуть из моего кармана и поднести своим новым милостивцам, и доходят в этом до геркулесовых столбов, ну и конечно, достигают цели, общипывают, обирают нас невообразимо», — страдала Надежда Филаретовна.

Чайковский утешает, сочувствует, понимает, но, увы, помочь ничем не может, кроме добрых слов и музыки.

На память о Браилове у Надежды Филаретовны останутся его «Воспоминания дорогого места», написанные для скрипки и фортепиано.

У Петра Ильича тоже был памятный подарок, глядя на который он вспоминал Браилово. Это роскошные часы, полученные им от баронессы фон Мекк в память оперы «Орлеанская дева», частично писанной в Браилове. Крышки часов, покрытые черной эмалью, были украшены изображениями Жанны д'Арк на коне и Аполлона с музами. Сделанные на заказ, они обошлись баронессе в десять тысяч франков.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

### «ОБИДНЫЕ СЛОВА»

Юргенсон заехал за ним в четвертом часу вечера.

— Петр, я намерен похитить тебя на несколько часов! — объявил он. — Поедем обедать.

— Куда? — озабоченно спросил Чайковский.

Петр Иванович Юргенсон был большим любителем простонародных трактиров, предлагавших своим посетителям рыбную селянку с гречневой кашей, жареных гусей, суп из потрохов и прочую незамысловатую снедь. Петр Иванович утверждал, что чем еда проще, тем она вкуснее и полезнее, а в компании приказчиков обедать не менее приятно, нежели в компании графов, князей и купцов первой гильдии.

— Все люди одинаковы, — любил повторять он и при этом непременно вздыхал, давая понять, что эти самые одинаковые люди весьма далеки от идеала.

На вопрос Чайковского Петр Иванович ответил туманно:

— Есть на Маросейке один трактирчик. Неплохое местечко...

«Неплохое местечко» оказалось и впрямь неплохим. Чистым, довольно приличным и с весьма сносным поваром. К тому же здесь навряд ли можно было встретить кого-либо из знакомых, что тоже относилось к достоинствам заведения.

По немного напряженному лицу Юргенсона было видно, что у него есть новости и новости эти не из приятных. В пролетке, на холодном осеннем ветру, разговаривать не хотелось, но, едва усевшись за стол, Чайковский посмотрел в глаза друга и попросил:

— Выкладывай все разом — что она натворила на этот раз.

Плохие новости Юргенсона были обычно связаны с Антониной Ивановой.

— Она, слава богу, перестала докучать мне, — ответил Юргенсон. — Я хотел сообщить о другом...

— Чего изволите? — к столу, изображая лицом и телом преувеличенное внимание и отчаянную готовность услужить, подбежал половой.

«Где их только берут — таких неотличимых друг от друга? — подумал Петр Ильич. — Такое впечатление, что все половые в российских

трактирах, что в Москве, что в Петербурге, что в Смоленске, — дети одних и тех же родителей. Пробор посередине, исполненный при участии репейного масла, плутовство в глазах, неизменный жилет».

— Подай-ка нам, братец, буженины, семги вашей боярской, щей с ребрышками и расстегаями, свинины жареной с картофелем и грибами, а после всего — чаю, — быстро распорядился Юргенсон, видимо хорошо знакомый с местной кухней. — Ну и графин коньяку, само собой.

— Счас-с-с, — прошипел половой и исчез.

— У меня есть новости из Петербурга, — начал Юргенсон. — По поводу твоего скрипичного концерта...

Бесполезно было бы спрашивать о том, кто именно сообщил Петру Ивановичу новости относительно скрипичного концерта — Юргенсон никогда не выдавал своих источников.

— Как ты знаешь, Иосиф намеревался играть его в Петербурге, — Юргенсон говорил спокойно, негромко. — Так вот, против этого выступил Давыдов...

— Карл Юльевич? — изумился Чайковский.

— Нет, его однофамилец — герой войны двенадцатого года и по совместительству поэт, — пошутил Петр Иванович. — Конечно же, он, наш дорогой Карл Юльевич, назвал твой скрипичный концерт жалким и добавил, что это не произведение, а насмешка над публикой.

— Черт бы его побрал! — вырвалось у Чайковского. — Что он себе позволяет?

Такой подлости от человека, которого он уважал, чьим талантом восхищался, называя его «царем виолончелистов нашего века», Петр Ильич не ожидал.

— Если ему пожаловано звание солиста двора, то это еще не значит, что он имеет право судить остальных музыкантов, да еще судить так грубо! — Петр Ильич вышел из себя. — Лучше бы он занимался математикой...

Карл Юльевич Давыдов по окончании Московского университета получил степень кандидата математических наук.

— ...или же пошел по стопам отца...

Отец Карла Юльевича был врачом.

— ...нежели брался судить о том, о чем ему судить не положено!

Петр Ильич стукнул кулаком по столу. Посуда зазвенела, половой тут же подскочил.

— Он не один такой, — прямодушный Юргенсон умел успокоить. — С ним согласился Ауэр.

— Да что же это такое? — растерянно вытаращился на него Чайковский. — Два человека, которых я называл друзьями, которые были мне приятны, которые хвалили мои сочинения...

— Ауэру ты концерт посвятил, — напомнил Юргенсон.

— Вот-вот...

Половой принес коньяк и закуски. Когда он, расставив все на столе и наполнив рюмки, удалился, Петр Ильич продолжил:

— Причем я никогда не делал им ничего плохого, чтобы вызвать к своей персоне неприязнь, а то и ненависть.

— Да знаю я, — подтвердил Юргенсон, поднимая рюмку на уровень груди. — Предлагаю тост за тебя! Да сопутствует тебе успех!

— Спасибо.

Они чокнулись и залпом выпили коньяк, оказавшийся весьма недурственным.

— Странно, что Иосиф ничего не написал мне, — сказал Чайковский, закусывая бужениной.

Котек иногда писал ему, но их переписку нельзя было назвать регулярной.

— Должно быть, не хотел огорчать, — предположил Юргенсон.

— Рано или поздно я все равно бы все узнал.

— Это так.

— Ты сказал все или имеешь добавить что-либо? — уточнил Чайковский.

— Только то, что Антон Григорьевич не стал ничего возражать им...

— А даже высказал в мой адрес парочку своих неуклюжих острот! — перебил его Чайковский, разливая новую порцию коньяка по рюмкам, не дожидаясь полового. — Предлагаю ответный тост — за тебя, Петр, моего любимого, единственного и бескорыстнейшего издателя!

На этот раз закусили семгой.

— И чего в ней боярского? — спросил Чайковский. — Семга, как семга, ничего особенного.

— Доводилось есть и получше, — подтвердил Юргенсон. — Очевидно, звучное название блюда призвано добавить солидности заведению.

— Как я люблю твою обстоятельность и деликатность! — восхитился Чайковский. — Другой сказал бы просто — «пыль в глаза пускают», а ты вон как дипломатично выразился!

— Станешь тут дипломатом при такой жизни, — усмехнулся Юргенсон. — Ничего удивительного. Кстати, австрийские и немецкие

газеты неожиданно принялись восхвалять Бродского, решившегося дебютировать в Вене с твоим скрипичным концертом. Ему ставят в заслугу не столько трудность исполнения и саму сложность произведения, как его русское происхождение.

«Это она», — подумал Чайковский, почувствовав во внезапном к нему расположении зарубежных газет руку Надежды Филаретовны, но вслух ничего не сказал.

— В Вене не любят смелость, там больше расчет в чести, — продолжил Петр Иванович. — Но я скажу тебе, что Бродский просто молодец.

— Мой концерт и Дамрош два года назад играл в Нью-Йорке! — напомнил Чайковский, весьма ревниво относившийся к своей славе. — А эти завистники...

Леопольд Дамрош в далекой Америке считался «первой скрипкой континента».

Подали щи прямо в обжигающе горячих глиняных горшках.

— Ну, прямо как в Берендеевом царстве! — улыбнулся Чайковский.

— Мне непонятны мотивы их поступков, — вернулся к теме разговора Юргенсон. — Не нравится вам концерт — не играйте его, никто же не неволит. Но зачем мешать другим? Если предположить, что твой концерт плох или, к примеру, Котек — никудышный скрипач, то вся это затея провалится под шиканье публики во время первого выступления, не так ли?

— Их гложет зависть, — сказал Чайковский, погружая в щи ложку. — Одному сам граф Виельгорский виолончель работы Страдивариуса преподнес, другому государь изволил пару приветливых слов сказать, третий вообще упивается своей славой и более ничего знать не желает. Я сегодня же напишу Давыдову...

— Что не так у вас-с-с? — подскочил к столу половой, озабоченный тем, что клиенты не спешат есть щи. — Щи не в порядке?

— Не беспокойся, любезный, — ответил Чайковский. — В порядке твои щи, просто горячи очень. Вот мы и ждем, пока они остынут.

С людьми низкого положения он неизменно был приветлив и доброжелателен.

Половой удовлетворился объяснением и скрылся из виду.

— Я потребую у него объяснений. Нельзя требовать, чтоб критик был всегда справедлив и безусловно непогрешим в своих оценках. Но нужно, чтобы он был правдив и честен. Он может ошибаться, но всегда искренно, — продолжил Чайковский. — Могу ли я сослаться на тебя в письме к Давыдову?

— Лучше не надо, — честно ответил Петр Иванович. — Мое дело требует от меня сохранять хорошие отношения со всеми, имеющими отношение к музыке.

— Вот именно — имеющими отношение! Я так ему и напишу — «Уместно ли людям, всего лишь имеющим отношение к музыке, судить о ней?». Благодарю за подсказку.

— Давыдов и Ауэр имеют звания «солистов двора Его Императорского Величества», — напомнил Юргенсон. — Твои слова относительно «всего лишь имеющих отношение к музыке» могут быть превратно истолкованы, и даже сочтены оскорбительными для...

Он указал глазами на потолок.

— Ты думаешь? — спросил Петр Ильич, вспомнив, что Ауэр вдобавок занимал пост дирижера симфонических концертов придворной певческой капеллы.

— Советую просто попросить Карла Юльевича объясниться, — посоветовал Петр Иванович. — Но, в общем, я согласен с тобой — нельзя оставлять этого дела без вмешательства.

— Я при первом же удобном случае расскажу об этом Константину Николаевичу, — пообещал Чайковский. — Вряд ли ему понравится...

— Не делай этого, — покачал головой Юргенсон. — Объяснений у Давыдова потребовать нужно, подобных слов мимо ушей пропускать не следует, но привлекать постороннее внимание к этому досадному происшествию, на мой взгляд, не стоит. Сразу пойдут разукрашенные донельзя сплетни. Злые языки будут говорить, что ты уязвлен до глубины души, что ты ничего из себя не представляешь как композитор, что тебя повсюду отказываются играть...

— Да, согласен, — кивнул Петр Ильич. — Ты, как всегда, мыслишь трезво. Но, — он прижал руку к груди, — здесь свербит обида. И еще этот Ауэр... как он мог?

— Он многим обязан Давыдову.

— Но и мне тоже, в конце концов! А что касается Давыдова, то он любит окружать себя теми, кто ему обязан. Ты и сам превосходно знаешь, во что он превратил петербургскую консерваторию — собрал под свое крыло лизоблюдов и бездарей из самых отдаленных уголков империи и радуется, находя в них поддержку...

С подачи Давыдова число учащихся консерватории и впрямь все росло и росло. Он даже устроил при консерватории общежитие для иногородних студентов, которым не по средствам было снимать жилье в самом дорогом городе империи.

— Мало мне нападок на мою церковную музыку, так еще и это!

Попытка Чайковского поработать на пользу русской церковной музыки вызвала нападки духовенства. Написанную им обедню сочли католической и запретили к исполнению во время религиозных церемоний. «Я бессилен бороться против этих диких и бессмысленных гонений! Против меня люди, власть имеющие, упорно не хотят допустить, чтобы луч света проник в эту сферу невежества и мракобесия», — страдал Чайковский.

К концу обеда Петр Ильич вспомнил, что в Праге собираются ставить «Орлеанскую деву», и вследствие этого (не без участия вкусной еды, коньяка и общества друга) настроение его улучшилось. Тем более, что на днях он уезжал во Флоренцию, а затем намеревался пожить в Риме. Нет, что ни говори, но он правильно сделал, оставив консерваторию. Сидел бы в Москве, как привязанный...

Ему даже стало немного жаль Карла Юльевича. Что такое пост директора консерватории?

«Суета сует и всяческая суета», — как выразился библейский Екклесиаст. Сиди себе в холодном городе, в унылом казенном кабинете, и разбирай ворох нескончаемых дел.

Провинности преподавателей, невзнос платы за обучение, ремонт классов, пьянство швейцара, закупка необходимого инвентаря...

Какая тоска! Это уже не музыкант, а старший приказчик какой-то получается. Ужас, мрак... Впору удавиться на оконном карнизе!

То ли дело — сочинять музыку, разъезжать по разным, приятным сердцу местам, принадлежать самому себе и никому больше!

Вспомнилось из Лермонтова:

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...

Чужды вам страсти и чужды страдания, —

Вечно холодные, вечно свободные,

Нет у вас родины, нет вам изгнания. [\[14\]](#)

Это почти про него. Почти, потому что страсти и страдания ему не чужды.

Вечером он написал письмо Давыдову. Ответ пришел нескоро — недели через три. Пока его пересылали в Италию, куда к тому времени успел уехать Петр Ильич, прошло еще десять дней.

Давыдов начал с извинений, после которых пустился в длинейшее рассуждение о сравнительных достоинствах того или иного композитора, а

затем перешел к сравнению исполнительского мастерства разных музыкантов, и в конце концов Петр Ильич догадался, что поводом для нападок послужили отнюдь не недостатки его концерта.

Причина крылась в другом. Обида проступала между строк заключительной части письма Карла Юльевича. Ему, чье мастерство давно уже было признано, не предложили играть этого концерта. Не предложили и Ауэру, а отдали какому-то Котеку.

«Можно подумать, что это я упрашивал Иосифа играть мой концерт, — усмехнулся про себя Петр Ильич. — Взрослый солидный человек, а ведет себя словно малое дитя».

Черкнул Давыдову в ответ несколько приветливых, ничего не значащих слов, чтобы не казаться невежливым и сел за пространное письмо Юргенсону. В конверт, адресованный Петру Ивановичу, вложил и давыдовское письмо — пусть тот развлечется занимательным чтением.

У баронессы фон Мекк было свое мнение об этом скрипичном концерте. Она писала Чайковскому: «Сейчас я играла Ваш скрипичный концерт, Петр Ильич, и все больше от него в восторге. Первая часть с музыкальной стороны чрезвычайно интересна, эффектна и притом написана так легко, свободно; первая тема так величественна, с таким достоинством, что просто прелесть. Она, т. е. вся первая часть, разыгрывается трудно, потому что есть такие оригинальные пассажи для скрипки, что исполнитель не сразу свыкается с ними, потом в некоторых местах трудны ритмы, но зато уж если это все преодолеть, то она очень красива. Я определяю ее происхождение так, что она написана по чисто музыкальному вдохновению, но *Canzonetta*... о, какая это прелесть! Сколько поэтичной мечтательности, какие затаенные желания, какая глубокая грусть слышатся в ней, эти *sons voiles* (под сурдинкою), этот таинственный шепот, что это за прелесть!

Господи, как это хорошо! Ну, а последняя часть — это вся жизнь, кипучая, неудержимая. Что за богатство фантазий у Вас, что за разнообразность ощущений! Сколько наслаждения доставляет Ваша музыка!»

## ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»

В январе 1885 года Петр Ильич писал баронессе фон Мекк из Петербурга, что по окончании пятнадцатого представления «Онегина» в Большом театре, на котором присутствовал император с императрицей и другими членами царской фамилии, его пригласили в ложу к Александру Третьему. «Государь пожелал меня видеть, пробеседовал со мной очень долго, был ко мне в высшей степени ласков и благосклонен, с величайшим сочувствием и во всех подробностях расспрашивал о моей жизни и о музыкальных делах моих, после чего повел меня к императрице, которая в свою очередь оказала мне очень трогательное внимание, — писал он баронессе и добавлял: — Знайте, что ни ошеломляющий успех, ни неудачи и горести, ни безумная суeta городской жизни не могут заслонить для меня всегда присущую мне мысль о Вас и о Вашем благодетельном влиянии на всю жизнь мою».

Популярность Чайковского все росла и росла. Помимо прочего он стал одним из директоров Русского музыкального общества.

Однако у каждой медали обязательно есть обратная сторона.

«Моя московская жизнь до крайности утомила меня. Не имею времени ни для работы, ни для чтения, а только с утра до вечера или принимаю гостей у себя, или сам принужден у кого-нибудь быть», — жаловался он баронессе фон Мекк.

Он хочет покоя и... хочет иметь свое уютное гнездо, свой собственный дом.

Жизнь вечного странника, кажется, начинает приедаться ему.

Впервые в жизни он с тоской и страхом думает о предстоящем отъезде за границу.

Ему предлагают снять дачу, обставленную мебелью и снабженную всем необходимым для жизни. Дача расположена в живописной местности между Москвой и Петербургом — в селе Майданове, что в двух верстах от города Клина. В доме много комнат, что немного пугает Петра Ильича — дорого ведь встанет отапливать их в течение зимы.

Но зато при доме есть великолепный парк, и вообще вид из окон очень красивый.

После не очень долгих раздумий Чайковский решает снять дачу в селе

Майданове на один год. А там видно будет...

Алексей, наконец-то вернувшийся из солдатчины, еще продолжает заниматься подготовкой дома, а Петру Ильичу уже не терпится туда переехать. Он предвкушает спокойную, размеренную жизнь в тихом уголке. Что может быть лучше этого? «Еще в Москве меня начала преследовать особого рода головная боль, которая случалась и прежде, когда нервы мои приходили в окончательное расстройство. Боль эта, похожая на зубную невралгию, здесь довела меня до такого состояния, что минутами я просто с ума сходил. На сей раз поневоле пришлось отказаться как от приема гостей, так и от всяких посещений, за исключением ближайших родных. Заниматься я тоже вовсе не могу и даже это письмо пишу с напряжением и усилием. К счастью, скоро мне предстоит спокойствие, одиночество и свобода, а мне только это и нужно, чтобы в два-три дня совершенно поправиться», — делится Чайковский с Надеждой Филаретовной.

Вначале по переезде дом пугает его. Несмотря на все старания Алеши, дом грязноват — слуга успел привести в порядок только три комнаты, в которых они и были вынуждены поселиться. К тому же дом не так уж хорошо обставлен и не так нов, как утверждала многословная и, как оказалось, лживая хозяйка.

«Но зато что за наслаждение, что за чудный отдых доставляет мне это одиночество, эта тишина и свобода!!! Какое счастье быть у себя! Какое блаженство знать, что никто не придет, не помешает ни занятиям, ни чтению, ни прогулкам!..

Я понял теперь раз навсегда, что мечта моя поселиться на весь остальной век в русской деревне не есть мимолетный каприз, а настоящая потребность моей натуры, — радуется Чайковский, уточняя: — Разумеется, Майданово не есть венец моих желаний. Но год один я могу прожить и здесь, пока не приищу чего-нибудь вполне подходящего».

В «своем» доме он продолжает работу над оперой «Кузнец Вакула», написанной по гоголевским мотивам давным-давно.

Опера тяжеловесна, вычурна, либретто никуда не годится. Но когда-то в нее было вложено столько труда, столько надежд было связано с ней... И название лучше бы подобрать поизящней. Конечно же — лучше всего было бы назвать оперу «Ночь под Рождество», но... банально, банально! Хочется чего-то другого.

Некогда он написал эту оперу на конкурс, объявленный Русским музыкальным обществом, на сочинение оперы по повести Гоголя «Ночь перед рождеством». Оперу следовало писать по готовому либретто Якова Петровича Полонского, известного поэта послепушкинской эпохи.

Полонский изначально писал либретто для композитора Александра Николаевича Серова, но тот скончался, не успев осуществить своего замысла. Партитура Чайковского получила первую премию — полторы тысячи рублей.

Опера «Кузнец Вакула» была примечательна тем, что открыла лирико-комический жанр в русской классике, став первым произведением подобного рода.

В конце 1876 года опера была поставлена в Мариинском театре, где за несколько сезонов ее показали зрителям восемнадцать раз. На других сценах Чайковский ставить «Кузнец Вакулу» не разрешал, хотя публика принимала ее хорошо.

Это произведение получило подзаголовок — «комико-фантастическая опера». На фоне ярких, красочных образов украинской природы и народного быта композитор с задушевым лиризмом и тонким юмором раскрывает перед нами трогательную, немного наивную историю любви красавицы Оксаны и кузнеца Вакулы.

«Бывши теперь в Петербурге, я, наконец, слышала Вашу оперу «Вакула». Что за прелесть! Как хороша партия тенора, как восхитительны танцы, да и всего не пересказать, что хорошо! Театр был полон. С каким нетерпением я жду Ваших новых сочинений!», — писала баронесса фон Мекк Чайковскому в ноябре 1877 года.

Сам Чайковский считал иначе. Вот что он писал Надежде Филаретовне о «Вакуле»: «...гладко, достаточно чисто, но рутинно, бледно и бесцветно. Есть один человек, на которого я во все время сердился, слушая эту оперу. Этот человек — я. Господи, сколько непростительных ошибок в этой опере, сделанных не кем иным, как мною! Я сделал все, чтобы парализовать хорошее впечатление всех тех мест, которые сами по себе могли бы нравиться, если б я более сдерживал чисто музыкальное вдохновение и менее забывал бы условия сценичности и декоративности, свойственной оперному стилю. Опера вся сплошь страдает нагромождением, избытком деталей, утомительною хроматичностью гармоний, недостатком округленности и законченности отдельных номеров. *C'est un menu surchargé de plat septices.*<sup>[15]</sup> В ней много лакомств, но мало простой и здоровой пищи».

Наконец-то, почти через десять лет, руки дошли до любимого детища. Петр Ильич работает упоенно до самозабвения. Переработанный «Кузнец Вакула» будет называться «Черевички». Полонский даст Петру Ильичу разрешение на переработку либретто. Новое либретто, как и само название, будет заимствовано из пьесы «Черевички», с огромным успехом

прошедшей только что в Петербурге и в Москве. Автор пьесы, Ипполит Васильевич Шпажинский, согласился по просьбе Чайковского переделать свое произведение в оперное либретто, следуя его же указаниям.

Надежда Филаретовна рада за своего лучшего друга: «Поздравляю Вас с новосельем, дай бог, чтобы Вы нашли в нем здоровье, спокойствие и наслаждение. Я очень рада, что Вы довольны Вашим местопребыванием, тем более что я очень боялась, что жизнь в одном из таких захолустьев, какими изобилует наше бедное отечество, покажется Вам очень тяжелою».

И со знанием дела пытается отсоветовать Петру Ильичу покупать дом. «Знаете, дорогой мой, что меня пугает Ваше желание приобрести собственность, потому что я по собственному опыту и по бесконечным наблюдениям знаю, что иметь собственность — это иметь бесчисленное множество терзаний, мучений, неприятностей, несправедливостей и всего того, что человеку вконец расстраивает нервы. У меня были огромные собственности, я потеряла на них последнее здоровье; теперь у меня самые маленькие собственности, и я никогда не знаю покоя, благодаря им... Мне кажется, что если Вы в продолжение этого года найдете что-нибудь, что Вам понравится, то менее опасно было бы нанять на три, на четыре года. Конечно, иметь собственность очень приятно, но в этом заключается еще больше неприятностей, чем приятностей, в особенности же для Вас, который не привык к такого рода дразгам».

Баронессе фон Мекк можно верить — собственности у нее были не только огромные, но и множественные. Наградило ее провидение недвижимым имуществом, нечего сказать...

Чайковский не спорит — иметь собственность и впрямь стеснительно.

Но, с другой стороны, ему нужно же, наконец, хоть где-нибудь быть у себя дома!

В Москве он бы нанял квартиру и был бы счастлив. Но наемное жилье в деревне его не устраивает, он не чувствует себя в нем, как дома...

Взять хоть бы дом в Майданове.

Неподалеку живет хозяйка, которая всеми путями навязывается на знакомство! После Антонины Ивановны с женщинами, которые ведут себя подобным образом, он не желает иметь ничего общего, даже простого знакомства.

Нельзя посадить цветы, какие хочется...

Нельзя устроить беседку...

Нельзя срубить дерево, загораживающее живописный вид...

Нельзя запретить посторонним лицам гулять под своими окнами в парке, так как парк принадлежит нескольким собственникам...

Короче говоря, нельзя «быть полным властелином» своего дома и прилегающей к нему территории. Потому-то Петр Ильич и желает иметь маленькую собственность в виде домика и садика, размещенных на крошечном кусочке земли.

Захолустье Чайковского не пугает. Тем, чего в Майданове нет (например книг, нот, хорошей писчей бумаги), можно запастись загодя, а в отношении еды он крайне неприхотлив.

Был бы покой...

Не было бы докучливых визитеров...

Чайковский находит небольшой, требующий перестройки и отделки дом в Клину, расположенный на берегу реки. Дом ему нравится — он расположен в стороне от города, отчего никаких соседей нет и не предвидится, зато есть уютный маленький садик. Чайковский собирается снять этот дом и за лето привести его в состояние, годное для зимнего жилья.

Узнав о его планах, баронесса фон Мекк удивляется: «Ваше намерение поселиться в Клину меня немножко шокирует, дорогой мой. Как Вам, человеку такому знаменитому и так широко заслуживающему свою знаменитость, поселиться в каком-нибудь ничтожном городишке, как Клин? Нет, это нельзя, на меня это производит такое впечатление, что Вы не поместитесь в Клину — Вы слишком крупный предмет для такого мелкого вместилища. Но, конечно, дорогой мой, если Вы находите, что Вам будет там хорошо, я постараюсь приучить себя к этой мысли; для этого, так как я не могу уменьшить Ваш объем, я постараюсь в своем воображении расширить Клин и представлять себе его чем-то вроде Versailles<sup>[16]</sup> и Трианон<sup>[17]</sup>... Итак, дорогой мой, если Вы поселитесь в Клину, он будет для меня Версалем».

Чайковский ответит: «...Клин, в сущности, есть та же деревня, и домик, на который я имею виды, стоит совершенно в стороне, так что, когда мне угодно, я могу выйти в лес и поле, миновав город. Близость же лавок, аптеки, почты, телеграфа и станции есть большое удобство для человека, который лошадей не имеет... В Каменке я уже иначе не буду бывать, как гостем, а что касается приобретения собственной усадьбы, то благоразумие требует, чтобы я отложил это дело. А в своем клинском домике и садике я буду полновластным хозяином, как бы собственником».

«Я буду любить даже и Клин, если Вы будете обитать в нем», — ответит баронесса.

В будущем сезоне директор императорских театров Всеволожский

обещает поставить оперу «Черевички» в Москве.

«Черевички» уже включены в репертуар будущего года, причем Чайковскому обещано, что декорации (обстановка) будут самые роскошные. Чайковский счастлив: «Я присутствовал на заседании, в коем обсуждалась эта обстановка, и совершенно доволен и счастлив при мысли, что моя опера (к которой я всегда питал особенную слабость) появится в самом блестящем виде. Директор командировал декоратора Вальца в Царское Село для воспроизведения какой-то янтарной гостиной и залы тамошнего дворца», напишет он Надежде Филаретовне.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ «СОРОК ПЯТЬ»

Здравицы в его честь провозглашались одна за другой. Было не утомительно — приятно.

Перед глазами вдруг встали картины далекого 1861 года. Постылая служба, обезлюдевший без сестры Сашеньки и ее кавалеров дом, скука, тоска, страдание по неудавшейся жизни... Невозможно представить себе, что бы было с ним, если бы он не решился тогда изменить свою жизнь! Если бы не поддержал отец...

— Господа, я счастлив присутствовать здесь, в этот торжественный день, когда мы чествуем нашего дорогого Петра Ильича...

Какие же они все-таки славные, товарищи по консерватории... Немного шумные, немного назойливые, частенько — обидчивые, но все же славные. Как они любят его — он и не ожидал столь роскошного торжества в честь своего сорокапятилетия. Думал, что просто поздравят — и все. Ну, поднесут еще очередной серебряный портсигар с надписью: «Петру Ильичу Чайковскому от...». Портсигаров у него уже скопилось больше дюжины, впору ювелирную лавку открывать.

А туг — обед в его честь. Юргенсон, хитрец, нагрянул с самого утра в дом Надежды Филаретовны, на Мясницкой, где он остановился в этот раз, и предупредил:

— В два часа собираемся в «Славянском базаре». Не забыл?

— Зачем? — решил пошутить он.

— Как зачем? — удивился Юргенсон. — Кажется, твой юбилей нынче...

Альбрехт говорил так долго, что кое-кто начал украдкой позевывать. Не удовлетворившись перечислением заслуг юбиляра, он подробно остановился на «том, что Петр Ильич сделал для консерватории».

— Вы, Константин Карлович, преувеличиваете, — не выдержал Чайковский. — Мне только что, слушая вас, показалось, будто бы моя фамилия Рубинштейн...

Выпили, не чокаясь, за Николая Григорьевича. Чайковский почувствовал, как глаза его повлажнели. Такое же случалось всякий раз, когда он проезжал или проходил мимо дома на Моховой, в котором когда-то жил Николай Григорьевич.

«Боже мой, какими смешными сейчас кажутся все недоразумения между нами!» — подумал Петр Ильич.

Рубинштейн был фигурой. Гигантом. Столпом, на котором держалась Московская консерватория. Танееву таким никогда не стать... Зато — Танеев терпелив, покладист и снисходителен к людям. Эти качества тоже многое значат.

Николай Григорьевич сейчас бы окинул взглядом собравшихся, нашел бы, что за столом скучно, и предложил бы что-нибудь этакое, для увеселения...

Петр Ильич вспомнил, что Рубинштейн прожил на свете всего сорок семь лет и ужаснулся близости своего возраста к этой цифре. Умирать не хотелось, хотелось жить. Теперь, купаясь в славе, он наконец-то мог позволить себе признать, что у него нет причин для недовольства жизнью.

Сорок семь, сорок семь... Иосифу было тридцать и никогда уже не исполнится тридцати одного. Проклятая чахотка! Известие о смерти Котека он получил из Берлина утром в сочельник. Плакал навзрыд, до припадка. Впервые в жизни почувствовал, как что-то царапает сердце изнутри, словно кошачьей лапой...

Хуже всего было то, что на него, как на близко знавшего Иосифа, была возложена тяжкая обязанность сообщить его престарелым родителям, проживавшим в Каменец-Подольске о смерти сына. Целых три дня он никак не мог решиться, а потом все же отправил длинную телеграмму, полную слов сочувствия, и триста рублей денег.

Можно привыкнуть к тому, что нет Николая Григорьевича, но Иосиф... Кажется, что он сидел вот за этим столом и вышел на минуточку по своим делам. Иосиф- скрипка в его руках не пела, она разговаривала. Как живая собеседница, как подруга...

Господи! Непостижим промысел твой! Неисповедимы пути твои! Но ответь, ответь же, Господи, почему ты призываешь к себе Иосифа, совсем недавно вышедшего из юношеского возраста, Иосифа, который еще толком не осознал, что такое есть жизнь, и оставляешь ходить по земле эту гадину? Эту, с позволения сказать — женщину, которая снова принялась писать ему гадкие, безумные письма и даже угрожала публичным скандалом!

Она способна на публичный скандал! Ему ли не знать ее способности делать дурное, отравлять ему жизнь, мучить его! Надо бы поговорить с Анатолием относительно ее. Ведь безумных, умалишенных, что досаждают окружающим, положено изолировать от общества к обоюдной же пользе. Непременно следует поговорить! Толя должен знать способы...

Дважды во время обеда ему попеняли на отказ от директорства.

Ласково, с небольшой укоризной.

— Я несказанно благодарен вам за доверие, господа, но, к великому огорчению моему, не могу занять этого поста, ибо совершенно для него не гожусь, — разводил руками он.

— А кто же больше вас, Петр Ильич, годится? — спрашивали присутствующие, косясь на Альбрехта, которого в консерватории недолюбливали. Недолюбливали совершенно незаслуженно, считая то безликой тенью Рубинштейна, то коварным интриганом. Впрочем, Константин Карлович не придавал этому никакого значения — он преподавал, участвовал в делах консерватории, руководил Русским хоровым обществом, которое сам и основал, сочинял, выискивал и пестовал таланты...

— Вы, господа, знаете, что я хотел бы видеть на этом посту Сергея Ивановича.

Танеев, сидевший слева от него, закатил глаза и шумно вздохнул, изображая покорность судьбе.

— Да что мы все о делах да о делах?! — воскликнул кто-то, и вопрос о директорстве был забыт — собравшиеся, большинство которых были страстными охотниками, сменили тему и принялись рассказывать друг другу охотничьи байки.

Он ходил иногда с ружьем по лесу, но в занятии этом больше ценил возможность уединенной прогулки, нежели добычу зверя или птицы. На спусковой крючок он нажимал без особой охоты, ничуть не огорчаясь промахам.

— А что, возле Клина хороша охота? — спросил Василий Ильич Сафонов, недавно перешедший из Петербургской в Московскую консерваторию профессором по классу фортепиано.

Сафонов, сын генерала, потомственный казак, был человеком резким, порой, можно даже сказать — грубым, но при этом искренним и справедливым. Петр Ильич симпатизировал ему.

— Пока не имел случая убедиться, — ответил он. — Хотя думаю, что неплохая.

О! Кто-то уже выпил столько, что назвал его «вторым Глинкой». Этого он никак не мог стерпеть.

— Господа! Я прошу воздержаться от присваивания порядковых номеров в такой тонкой материи, как музыка и все, что с ней связано! — заявил Петр Ильич, поднимаясь с места с бокалом шампанского в руке.

Все встали вслед за ним. Разговоры стихли.

— Нет второго Глинки, и не может быть, как не может быть второго

Чайковского, второго Римского-Корсакова, третьего Берлиоза, пятого Верди и десятого Баха! Каждый из нас единственный в своем роде, неповторимый и несравнимый с другими! Я хочу поблагодарить всех вас за высокую честь, оказанную мне сегодня, за множество добрых слов, сказанных в мой адрес и предложить выпить за всех присутствующих!

— За Московскую консерваторию, которую мы представляем! — подхватил Танеев.

— Ура!

«Двадцатого мая надо быть в Смоленске на открытии памятника Глинки», — вспомнил он. Ехать в Смоленск не хотелось, но директорство в Музыкальном обществе не позволяло уклониться от столь торжественного мероприятия, на котором обещали быть члены императорской фамилии, а то и сама императрица.

По окончании обеда последовала долгая сцена всеобщего прощания, затянувшаяся ровно настолько, насколько может затянуться сцена прощания людей, которые ежедневно видятся друг с другом, а только что перед этим неплохо провели время со всеми положенными атрибутами — вкусной едой, коньяком, шампанским.

Он посмотрел на часы, подарок Надежды Филаретовны, и понял, что рискует опоздать к брату Анатолию, который пригласил его «посидеть за столом в тесном кругу». «Тесный круг» состоял из них двоих и Николая Карловича фон Мекка, женатого на племяннице Анне.

Пора было ехать — Анатолий, канцелярская душа, не терпел опозданий.

В пролетке думал о том, что Коля оказался слишком слабым и быстро поддался Анне. Петр Ильич находил это дурным, потому что ему гораздо больше нравился прежний Коля — необыкновенно симпатичный добряк. После женитьбы, слишком подчинившись влиянию своей жены, Коля стал резок, строг, судил обо всем тоном знатока и раздражался, если с ним спорили. Эта перемена весьма испугала и огорчила Петра Ильича. Он обеспокоился настолько, что решился поделиться своими мыслями с Анной, крайне тактично посоветовав ей не «портить» мужа, а, напротив, самой попытаться стать более мягкой и покладистой. Аня не обиделась, пообещала принять его слова к сведению. «О, как бы я не желал, чтобы когда-нибудь, хоть мельком, Вы бы пожалели о том, что отдали Вашего добрейшего Колю Анне! Мысль, что когда-нибудь Вы раскаетесь в Вашем выборе, для меня убийственна», — писал он баронессе фон Мекк.

Баронесса успокоила его: «...открытие, которое Вы сделали, дорогой мой, для меня давно уже не новость: с первого приезда молодых ко мне в

Санные я уже заметила это, а летом, когда они жили у меня в Плещееве, для меня окончательно подтвердилось, что мой Коля совершенно под влиянием Анны и ее родителей. Я желала этого влияния и много раз выражала это Коле, когда он сделался женихом, и вот почему. Я видела, что у Коли нет сильного характера и что он способен поддаваться влияниям... и потому я искала для Коли хорошую жену и из хорошего семейства, для того чтобы оградить его от дурных влияний, а напротив, поставить под благотворное влияние людей, которые естественно и логично должны заботиться о всем хорошем для него. Следовательно, то, что Коля совершенно под влиянием своей жены и ее родителей, меня не должно огорчать, но мне желательно при этом, чтобы влияния эти были направлены на то, что благородно и полезно для Коли как в материальном, так и нравственном отношении».

Случилось то, чего и опасался в свое время Петр Ильич — если его отношения с Надеждой Филаретовной после свадьбы Коли и Анны остались прежними, то восторгов по поводу семейства Давыдовых она уже не выказывала.

За сто семьдесят тысяч рублей Коля, вопреки мнению матери, приобрел себе в Киевской губернии имение Копылово, управлять которым взялся его тесть — Лев Васильевич. Вскоре Надежда Филаретовна написала Чайковскому: «Я была бы ужасно рада, если бы Коля решился продать Копылов, потому что это совершенно брошенные деньги: ему, т. е. Коле, он не доставляет ни занятия, ни удовольствия, ни доходов, потому что в доходы я не верю, а расчеты с родственниками вести очень трудно, потому что хотя Лев Васильевич гарантирует Коле десять тысяч рублей дохода, но ведь если имение не даст их, то ведь Коля не будет же требовать их от своего тестя».

Ладно, бог с ними. Сестра рада без памяти удачному замужеству Анны, это ей награда за все мучения с Татьяной. Молодожены тоже выглядят счастливыми, а Надежда Филаретовна сама страстно желала этого брака. Можно считать, что все хорошо.

Однако же — сорок пять лет! Три раза по пятнадцать, а когда-то в пятнадцать лет они с Лелей считали себя такими взрослыми. Что же сказать сейчас?

От Апухтина давно не было весточки, все, небось, продолжает наслаждаться жизнью, баловень наш. Прямо мотылек какой-то — все порхает, порхает, порхает... Но — человек симпатичный, и стихи у него великолепные. Чего только стоит вот ЭТО:

Не там отраднo счастье веет,

Где шум и царство суеты:  
Там сердце скоро холодеет  
И блекнут яркие мечты.  
Но вечер тихий, образ нежный  
И речи долгие в тиши  
О всем, что будит ум мятежный  
И струны спящие души.  
О, вот они, минуты счастья,  
Когда, как зорька в небесах,  
Блеснет внезапно луч участия  
В чужих внимательных очах... [\[18\]](#)

А сорок пять, если вдуматься, не возраст. Отец, Илья Петрович, почти вдвое против этого прожил.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ «МЕЧТЫ СБЫЛИСЬ, А РАДОСТИ НЕ СТАЛО»

Кто мог желать ему славы больше, чем она?

Разве что только он сам, да и то навряд ли.

Она так ждала, так истово делала все, что могла сделать, так радовалась каждой хорошей вести...

Почему же сейчас ей грустно? Домашние считают, что она переутомилась, что она истязает себя делами, но это не так.

Стоит ей провести в кабинете больше часу, как на пороге возникает Юлия и смотрит на нее с немым укором.

— Юлия Карловна, вам больше нечем заняться? — ледяным тоном спрашивает она.

Юлия ненадолго уходит.

Да, дела идут плохо. Оказывается, нажить капитал не так сложно, как сохранять и приумножать его. Или, несмотря на всю свою мягкость и даже нерешительность, Карлуша был финансовым гением? Может быть.

Дети не радуют ее, как возможные наследники. Дочери ничего не смыслят в делах и очень довольны этим, Володя слишком добр и доверчив, Коля склонен к опрометчивым поступкам, Саша тугодум, Макс еще совсем ребенок...

Продолжателем семейного дела она видела Колю, но Коля постепенно начал ее разочаровывать... И женитьба его, с которой она связывала столько надежд, не оправдала себя в ее глазах. Надо признать, что в письмах Петра Ильича семейство его сестры выглядело гораздо привлекательнее, нежели на самом деле.

Но это же Петр Ильич! Он так добр, так доверчив и весь поглощен творчеством! Ему ли обращать внимание на скучные мелочи. Он любит всех, так уж он устроен.

Сколько же в нем доброты!

Сколько же в нем света, тепла!

Ей ли не знать его? Порой ей кажется, что себя она знает хуже...

Она очень боялась, что, став знаменитым, востребованным, осыпанным благами, он откажется от ее помощи. Это было бы ужасно — она не могла просто переписываться с ним, не принимая никакого участия в его жизни. Раз уж судьба распорядилась так, что им не суждено быть

вместе, так пусть уж оставит ей право, нет, не право — привилегию вносить свою лепту в его творчество, приумножать его славу.

Он все понимает и поэтому продолжает позволять ей посылать ему деньги. Он не может лишиться ее такой радости.

Верная своей привычке записывать все расходы без исключения, она неукоснительно фиксировала на бумаге и суммы, потраченные на него. Недавно ей вздумалось подвести итог этих священных для нее трат, и что же? Оказалось, что браиловский управляющий Тарасевич за недолгую службу свою лишил ее как минимум втрое большей суммы! Каково? Нет, лучше пусть все ее средства послужат музыке, чем будут прокучены в каких-нибудь грязных притонах.

Она была убеждена, что все краденое непременно спускается в притонах. Проигрывается в карты, тратится на непотребных женщин, сгорает на рулетке.

Она не упускала ни единого шанса помочь ему, она радовалась за него и...

И дико, до скрежета зубовного, ревновала его к славе.

Баронесса фон Мекк была натурой увлекающейся, восторженной, чувствительной, но душой она не была. Прекрасно отдавала себе отчет в том, что в жизни ее единственного друга она играла все меньшую и меньшую роль.

Ее вытесняла слава.

Она гордилась собой — ведь она столько сделала для этого, но постоянно вспоминала то славное время, когда он полностью зависел от нее. Вернее — когда она значила для него гораздо больше, чем сейчас.

Весы судьбы в очередной раз пришли в действие и перевернули все вверх тормашками. Когда-то одна из самых богатых женщин страны (представительницы царствующей фамилии, разумеется, в расчет не брались) стала другом бедному, не очень-то молодому, но подающему большие надежды композитору.

Теперь же знаменитый композитор Чайковский продолжал дружбу со старухой, некогда значительное состояние которой таяло на глазах. Неужели он делает это только из признательности?

Карандаш с хрустом преломился в руке и был отшвырнут прочь.

Когда она нервничала, ей нравилось ломать карандаши. Могла же она позволить себе это невинное мотовство?

Сейчас она вспомнила, какую чудовищную глупость сделала совсем недавно.

Дернул же ее черт полезть к нему с советами, да еще на столь далекую

от нее тему, как подбор директора Московской консерватории. Да еще выступить против Танеева и при этом написать столь бестактно «я думаю, Танеев не только слишком молод, но он и недостаточно энергичен, жив и представительен». Как она могла?

Ответ его был резок и обстоятелен. «Письмо Ваше задело меня за живое, и я не могу удержаться, чтобы тотчас же не ответить Вам. Случилось, что как раз в то время, когда я посылал Вам письмо мое с торжественным извещением о назначении Танеева директором и с горделивым приписыванием исключительно себе этой заслуги, Вы писали мне о непригодности Танеева'), — начал он, а затем перечислил достоинства Танеева и разъяснил, почему были отвергнуты предложенные ею кандидаты.

Танеев известен, талантлив, он приверженец классических взглядов. Его уважаю! за честность и твердость характера.

Губерт никудышный администратор, и к тому же он плохо ладит с людьми.

Направнику и Клиндворту директорство не нужно. К тому же, директором консерватории может быть только русский подданный, а Клиндворт — немец.

Римский-Корсаков от предложенного директорства наотрез отказался.

Она читала письмо, кусая губы от злости на себя, и удивлялась его терпению. Другой бы написал что-то вроде «простите, дорогая Надежда Филаретовна, но я же не даю Вам советов, касающихся состава правления Рязанской железной дороги». А Петр Ильич тратил свое драгоценное время, терпеливо разъясняя ей ее ошибки, да еще столь деликатным образом.

«Милый, дорогой друг мой! Пишу Вам несколько слов только для того, чтобы сказать Вам, что мне до крайности жаль, что мое последнее письмо пришло так не вовремя и некстати к Вам, — ответила она, когда успокоилась настолько, что перо не дрожало в ее руке. — Уверяю Вас, дорогой мой, что я бесконтрольно и безусловно нахожу хорошим и полезным всё, что Вы сделали в консерватории, и что если я перечисляла разных личностей на должность директора консерватории, то я только хотела помочь Вашей памяти, потому что я видела, что Вы были в затруднении».

Кажется, обошлось — в ответном письме он был таким, как и до этого прискорбного случая.

Она пообещала себе, что больше никогда в жизни не станет лезть к нему с подобными советами, и слово свое сдержала.

А еще она стала горячей сторонницей Танеева. Стоило кому-то в ее присутствии сказать что-либо критическое или ироничное в адрес нового директора Московской консерватории, как она тут же кидалась защищать Сергея Ивановича.

— Я удивляюсь перемене, произошедшей в вас, Надежда Филаретовна, — сказал ей Пахульский, ранее слышавший от нее совершенно противоположное.

— Я тоже ей удивляюсь, Владислав Альбертович, — ответила она.

...Когда Пахульский с Юлией вдвоем исполняли его романс «Я тебе ничего не скажу», она всегда слушала с упоением и часто просила повторить. Ей шли навстречу.

Это были не его слова.

Это были ее слова, обращенные к нему. Невысказанные, потаенные.

И была его музыка, которая красноречивей любых слов. Даже таких пронзительных:

Я тебе ничего не скажу,  
И тебя не встревожу ничуть,  
И о том, что я молча твержу,  
Не решусь ни за что намекнуть.  
Целый день спят ночные цветы,  
Но лишь солнце за рощу зайдет,  
Раскрываются тихо листы,  
И я слышу, как сердце цветет.  
И в больную, усталую грудь  
Веет влагой ночной... я дрожу,  
Я тебя не встревожу ничуть,  
Я тебе ничего не скажу.<sup>[19]</sup>

Она радовалась тому, что у него появилось некое подобие собственного дома, и не могла сдержать слез при мысли о том, что ей никогда не суждено переступить его порога.

Она чувствовала, как он постепенно уходит из ее жизни, и вымещала досаду на ни в чем не повинных бездушных карандашах, которых с каждым днем ей требовалось все больше и больше.

Однажды дочь Соня начнет хвалить ей своего мужа, одного из Римских-Корсаковых.

Надежда Филаретовна внимательно выслушает дочь и спросит:

— Ты и впрямь довольна? И не держишь на меня зла за то, что я не позволила когда-то тебе стать мадам Дебюсси?

Клод Дебюсси пользовался покровительством баронессы фон Мекк. Был ее придворным пианистом и учил Соню играть на фортепиано. Игра в четыре руки сближает сердца — Клод и Соня признались друг другу в любви, после чего наивный Дебюсси явился Надежде Филаретовне, чтобы просить Сониной руки.

Дело было в Вене. Дождливый осенним днем, когда у баронессы нестерпимо болели суставы. Суставы и оказались виновны в том, что ее отказ был облечен в весьма грубую форму. Она наговорила растерявшемуся юнцу много грубого, даже потрудились весьма остроумно перевести на французский русскую поговорку, касающуюся свиных рыл и калашных рядов.

В заключение она рассчитала несчастного кандидата в зятя и велела ему немедленно убираться из Вены, заявив, что в противном случае ославит его на весь белый свет.

Дебюсси в полчаса собрал свои вещи и уехал в Париж. Разумеется, не повидавшись с Соней, которую мать призвала к себе и никуда не отпускала до тех пор, пока ей не доложили, что поезд унес Дебюсси прочь.

Петру Ильичу она сообщила правду, но — сильно урезанную: «У Сони новый учитель для фортепиано, потому что Debussy уехал в Париж».

— Ах, мама! Какая из меня мадам Дебюсси?! — рассмеялась Соня. — Я и думать о нем позабыла! Хотя... он был такой милый и смешной!

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ «БОЛЬШЕ СЛАВЫ!»

«Если бы Вы только вполтину могли знать всю неизмеримость блага, которым я Вам обязан, все неизмеримое значение той «самостоятельности» и свободы, которое вытекает из моего независимого положения. Ведь жизнь есть непрерывная цепь маленьких дрызг, мелочных столкновений с людским эгоизмом и амбицией, и стоять выше всего этого можно, только будучи самостоятельным и независимым. Как часто мне приходится говорить себе: хорошо, что так, а что если бы этого не было?» — спрашивает Чайковский.

«Я когда приезжаю в Россию, то только и испытываю впечатления от этой людской злобы, мелочных преследований, зависти, какого-то змеиноного шипения, которое слышится, хотя не всегда даже видишь, откуда оно идет. И за что это? Уверяю Вас, дорогой мой, что я никому зла не делаю, а в то же время видишь, как ищут милостей другого, вполне ничтожного и бессердечного человека», — отвечает баронесса фон Мекк.

«Другим человеком» был кто-то из компаньонов баронессы фон Мекк по Рязанской железной дороге.

Они не обольщались в людях — прекрасно знали, как жестоки и гадки могут быть люди.

И все больше ценили друг друга — скучали без писем.

А писем стало меньше. Петр Ильич однажды сделал одно очень грустное открытие — вдруг осознал, что многие из тех, кого он знал, уже умерли.

Стал перебирать в памяти имена с фамилиями и похолодел от мысли о том, что и ему осталось жить недолго.

Во всяком случае большая часть жизни уже позади, а сколько еще не сделано!

Всегда отличавшийся высокой работоспособностью (лишь бы никто не мешал), он стал работать значительно быстрее.

Начал чаще появляться на публике.

Идя навстречу просьбам Танеева, согласился дирижировать. Дирижировал «Черевичками» в Большом театре и получил от процесса, которого чурался всю жизнь, огромное удовольствие.

Кто спорит — дирижировать на премьере своей оперы очень приятно.

Он начинает реже писать баронессе фон Мекк.

Однажды спохватывается и пускается в объяснения, перемежающиеся восхвалениями адресата:

«Я стосковался по Вас. Обстоятельства складываются так, что я всё последнее время пишу Вам очень редко, общение между нами не так постоянно, и по временам мне кажется, как будто я стал несколько чужд Вам. Между тем никогда я так часто и много не вспоминал о Вас, как в эти самые последние дни... Десять лет тому назад я переживал в это именно время самый трагический период моей жизни, и бог знает, что бы со мной случилось, если бы Вы не явились ко мне с нравственной и материальной помощью. Как живо и ясно сохранились в моей памяти малейшие подробности этого уже далекого прошлого! Как я до глубины души проникаюсь чувством благодарности и благоговения к Вам! Сколько нравственной силы я почерпнул в Ваших тогдашних письмах, в бесчисленных выражениях участия и дружбы Вашей!»

Надежда Филаретовна поспешит заверить:

«Дорогой, несравненный друг мой! На днях я получила Ваше милое письмо, адресованное в Женеву. Как могли Вы подумать, дорогой мой, чтобы Вы стали мне более чужды, чем были прежде? Напротив, чем больше уходит времени, чем больше я испытываю разочарований и горя, тем более Вы мне близки и дороги. В Вашей неизменной дружбе и в Вашей неизменно божественной музыке я имею единственное наслаждение и утешение в жизни. Всё, что идет от Вас, всегда доставляет мне только счастье и радость».

И станет надеяться, что Петр Ильич вновь начнет писать ей часто, как в былые времена.

Надежды окажутся напрасными — переписка продолжает оскудевать, но совсем не оскудеет. Все же надо обсуждать новости, музыку, знакомых и благодарить за каждую присланную сумму.

Делиться горем, таким вот, например: «Мне готовится большое горе, — моя Юля хочет выйти замуж за Владислава Альбертовича, и ввиду этого он поехал поправить свои нервы. Я говорю, что это большое горе для меня не потому, чтобы я имела что-нибудь против выбора Юли, — нет, Владислав Альбертович прекрасный человек, но для меня это доставляет огромную и незаменимую потерю, я теряю мою дочь, которая мне необходима и без которой мое существование невозможно... Это очень давний роман, он тянется уже семь лет с разными перипетиями, при которых я надеялась, что при моей жизни эта чаша не коснется моих уст, но, однако, вышло иначе...»

И жаловаться друг другу на несовершенство этого мира.

О, им было превосходно известно, насколько мир несовершенен!

Это самое несовершенство привело к провалу его оперы «Чародейка», поставленной в Петербурге на сцене Мариинского театра. Дирижировал сам Чайковский. Он долго сожалел о «Чародейке», но больше сожалел о своем неумении писать великолепные блистательные оперы вообще.

Сколько раз он правил, вычеркивал, дополнял, рвал исписанные листы и начинал заново! «Никогда с таким старанием я не работал, как над «Чародейкой», — признавался Чайковский.

Уязвленный холодным приемом, который был оказан «Чародейке», Петр Ильич отказался дирижировать после четвертого представления. Всего же было дано семь представлений, после седьмого, на котором присутствовало не более дюжины человек, оперу сняли со сцены.

Зритель не принял «Чародейку».

Чайковский по возвращении домой принял целый графин коньяка, закусывая его яблоком.

Критики были солидарны со зрителем — ни одна опера Чайковского не вызвала столь много нападков, как «Чародейка». Петра Ильича обвиняли в отсутствии драматического чутья, в чрезмерном, ничем не оправданном увлечении оркестровыми фрагментами. Достоинств в новой опере никто, кроме самого Чайковского, не нашел...

Ну и пусть — зато его знали и тепло встречали повсюду от Петербурга до Тифлиса. И за границей тоже прекрасно представляли, кто такой Петр Ильич Чайковский.

Когда он отправится в европейское турне, ему станут аплодировать повсюду — в Париже, в Лейпциге, в Лондоне, в Праге...

Лондон ему не понравится. «Пишу Вам из мрачного, антипатичного Лондона, — напишет Чайковский баронессе фон Мекк. — Представьте себе, что когда я вышел сегодня из репетиции в двенадцать с половиной часов дня, то на улице была ночь, совсем настоящая, безлунная, темная ночь. Много слышал я о лондонских туманах, но этого не мог вообразить себе!»

На смену четырем месяцам европейской славы придут три месяца славы американской.

Платят американцы по-царски — двадцать пять тысяч долларов за турне. (Доллар тогда примерно был равен двум рублям.)

Баронесса разделяет его радость: «Дорогой мой, несравненный друг! Ваше триумфальное путешествие по Европе приводило меня в восторг и вполне удовлетворило в моем давнем горячем желании сделать Вашу

музыку известною за границу; теперь она не только известна, но и известна как бесспорно первоклассная музыка в Европе. Я так счастлива, что моя заветная мечта осуществилась и что Вы можете теперь отдыхать на лаврах».

И радуется его востребованности:

«Как я радуюсь, милый, дорогой друг мой, всем приглашениям, которые Вы получаете. Как Ваша слава быстро выросла, но оно и неудивительно: она существовала уже давно и только и ждала возможности пронестись по всему земному шару. Вы выступили перед публикою. Вы, так сказать, этим выпустили Вашу славу на волю, как птичку из клетки, вот она и облетает весь мир».

Чайковский раскрывает ей секрет композиторского успеха:

«Я очень много работаю и, как водится, очень устаю, — но нисколько не жалею. Слава богу, что еще есть охота работать. А охота, чем дальше, тем больше делается, планы мои растут, и, право, двух жизней мало, чтобы всё исполнить, что бы хотелось! Наша жизнь возмутительно коротка!!!»

В ответ — слова восхищения и любви. Обильные, часто повторяющиеся.

Ему все это приелось, как приедается мед, когда его много.

Не приедаются только деньги — их всегда мало.

Он читал только что полученном письме: «С величайшим удовольствием слушаю я из газет сообщения о Ваших триумфах, милый друг мой. Я радуюсь вдвойне: и тому, что Вы оценены, и тому, что русская публика умеет, наконец, ценить свое. А я здесь, в своем доме, в своем отчуждении от мира наслаждаюсь столько, сколько вся московская публика в совокупности, Вашими произведениями, дорогой мой».

И прикидывал шутки, ради, сколько смог бы иметь он в месяц дополнительных средств, если бы умел превращать похвалу в золото.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### «КОНСЕРВАТОРИЯ»

Настал день, и Танеев попросил освободить его от обязанностей директора Московской консерватории. Даже не попросил, а взмолился.

— Я так устал за все эти годы! — признался он Чайковскому. — Меня так утомляет вся эта круговерть. Мне жаль тратить на нее время и силы, мне тяжело управлять людьми. Вы не представляете, какая это мука заставлять ближних своих делать что-то против их же воли!

В глазах Сергея Ивановича плескалась беспросветная тоска.

— Я и без того собирался оставить директорство, — продолжал Танеев, — но после смерти матушки пребываю в столь подавленном состоянии духа, что просто ни дня больше не могу оставаться директором нашей консерватории.

Чайковский хорошо знал Танеева и прекрасно понимал, что он нуждается в отдыхе.

— Воля ваша, Сережа, — ответил он. — Кто вправе вас принуждать?

С глазу на глаз Петр Ильич называл Танеева Сережей и только на людях — Сергеем Ивановичем.

Новым директором с всеобщего согласия стал Сафонов, профессор по классу фортепиано.

«Можно предполагать, что будет дельный и хороший директор, — писал Чайковский. — Как человек он бесконечно менее симпатичен, чем Танеев, но зато по положению в обществе, светскости, практичности более отвечает требованиям консерваторского директорства».

«Дельный и хороший директор» однажды нанесет Петру Ильичу серьезную обиду...

Виолончелист Анатолий Брандуков был учеником и другом Чайковского.

Когда-то Брандуков играл в одном ученическом квартете консерватории с Иосифом Котеком и был замечен знатоками. Отличился он и в сольных выступлениях, которые с успехом давал в Москве и Нижнем Новгороде. Консерваторию Брандуков окончил с золотой медалью.

Анатолий искал постоянного места в Москве, но так и не смог его получить и был вынужден уехать за границу. Вначале он обосновался в Швейцарии, а затем перебрался в Париж — европейскую музыкальную

столицу, где пользовался покровительством известного писателя Тургенева, который ввел его в салон своей любовницы Полины Виардо, один из самых блистательных салонов Парижа.

Париж быстро принял талантливого виолончелиста. Брандуков с известным бельгийским скрипачом М. Марсиком организовали квартет, пользовавшийся большим успехом.

Его отметил Сен-Санс и приблизил к себе.

О нем говорили хорошо — виолончелистом Брандуков был и впрямь превосходным. Он выступал вместе с Колонном, и не только с ним одним — прочие дирижеры тоже ценили его талант.

И при этом Анатолий Андреевич всегда оставался сердечным, отзывчивым человеком, готовым помочь, поддержать. Русские музыканты, приезжавшие в Париж, находили в лице Брандукова заботливого опекуна. Он знакомил их с нужными людьми, выводил в свет, советовал, направлял, предостерегал.

Петр Ильич любил Брандукова, подолгу общался с ним в каждый свой приезд в Париж. Брандуков платил ему тем же и вдобавок часто исполнял его произведения.

Петр Ильич организовал Брандукову несколько концертов в России и даже посвятил ему одну из своих пьес.

Брандуков был чрезмерно щедр и вообще любил сорить деньгами. В Париже ему жилось тяжело — при всей популярности заработки были редкими, от случая к случаю, и денег вечно не хватало. Вдобавок Брандуков сильно скучал по родине и вследствие этого страстно мечтал о достойном месте в Москве. «Несмотря на то что в Париже он пользуется репутацией отличного виолончелиста, материальное положение его крайне стесненное, и он пламенно мечтает о переселении в Петербург или Москву, но, увы, там места заняты, и поневоле приходится оставаться в Париже, где, по крайней мере, он возвращается в самом лучшем обществе и упрочивает свою репутацию...» — писал о Брандукове баронессе фон Мекк Чайковский.

Встречаясь с Петром Ильичом в Париже, Брандуков то и дело повторял:

— Да разве это жизнь? Это существование! Вот, если бы я смог поселиться в Москве, получив должность в консерватории!

Семейная жизнь добряка Брандукова была несчастливой — Анатолия Андреевича третировала жена, желчная, глупая, сварливая особа, пианистка по профессии. Он долю терпел ее...

Петр Ильич вспомнил о Брандукове, когда весной 1890 года скончался

Вильгельм Федорович Фитценгаген, профессор по классу виолончели Московской консерватории.

По случаю его смерти в консерватории открылась вакансия, которая весьма и весьма подходила для Брандукова. Кстати говоря — он учился не только у Чайковского, но и у Фитценгагена.

Петр Ильич высоко оценивал исполнительское мастерство Брандукова, считая его превосходным виолончелистом, работающим человеком, хорошим музыкантом.

Из Рима он пишет директору консерватории, уговаривая того принять Анатолия Андреевича Брандукова профессором по классу виолончели.

На похвалу не скупится.

Считая дело решенным, Петр Ильич с удивлением и недовольством читал ответное письмо Сафонова.

Не потрудившись объяснить причин Сафонов решительно отвергал предложенную Петром Ильичом кандидатуру Брандукова.

«Глубоко уважая Вас, Петр Ильич, считаясь с Вами и всегда прислушиваясь к Вашему мнению, я хочу подчеркнуть, что ничто на свете не заставит меня согласиться на Ваше предложение. Позвольте мне, как директору самостоятельно решать подобные вопросы», — писал Сафонов.

— Вот мерзавец! — взъярился Чайковский, дочитав письмо до конца. — Самодур! Что он себе воображает?

Раздражение накатило огромной волной. Как может Сафонов отвергать кандидатуру, предложенную им? Как может Сафонов не считаться с его мнением? Кто дал ему такое право?

Дрянной человек Сафонов! Гнать его из консерватории прочь! Вон! Чтобы духу его не было!

Ведь, если разобраться, от Сафонова совсем несложно избавиться...

Соблазн был велик. Можно было тотчас же выехать в Москву, а по прибытии объявить о своем желании занять пост директора консерватории. Сафонов уступил бы ему свое место добровольно — так велик был авторитет Чайковского. Первым делом он принял бы Брандукова, а затем...

А затем на него обрушится вся эта куча консерваторских дел.

Обрушится и раздавит, а если и не раздавит, то навсегда лишит свободы, лишит возможности спокойно писать музыку... Анатолий Андреевич, конечно, прекрасный человек, но принести ради него в жертву свое жизненное счастье, это уж чересчур. Бросить сочинение музыки для Чайковского равносильно лишению себя жизни

Но и Сафонову нельзя спускать подобного тона.

Надобно действовать. Но как?

Ответ нашелся только на следующее утро.

Выйти из состава дирекции Музыкального общества, что означало одновременный выход и из дирекции консерватории.

Это будет замечено всеми, и Сафонову придется несладко. Хотя, если честно, Сафонов — очень деятельный и умный директор. Равноценной замены ему сейчас нет. Он хорошо управляет делами, педагоги слушаются его, студенты слегка побаиваются. Лучшего директора и не найти. Так пусть же он правит своим маленьким царством! Зачем мешать? Зачем вмешиваться?

Господи, пусть все идет так, как должно идти. Пусть Сафонов руководит консерваторией. Кажется, сей крест ему по плечу.

Петр Ильич письменно уведомил Сафорова о своем выходе из дирекции.

Брандукова он жалел как жертву огромной, незаслуженной несправедливости.

«Но, в конце концов, хороший, энергичный, полный амбиции директор консерватории важнее для ее благополучия, чем тот или другой виолончельный профессор. Сафонов же, не будучи мне лично особенно симпатичен, выказал превосходнейшие административные способности и большое рвение к делу», — написал Чайковский в письме баронессе фон Мекк.

Обида оставила еще один шрам на душе. Вспоминая случай с Брандуковым, он плакал.

С годами он плакал все чаще и чаще. Стал слаб на слезы.

На место профессора по классу виолончели Сафонов пригласил Альфреда Эдмундовича фон Глена, который очень скоро занял должность помощника директора.

Василий Ильич Сафонов стремился окружить себя верными, надежными людьми.

Это правильно — ведь в кругу своих чувствуешь себя гораздо спокойнее.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ «ФАННИ»

Детство — прекрасная пора, ни отчего-то все дети торопятся поскорее вырасти.

Письмо было отправлено из Монбелиара некоей мадемуазель Ф. Дюрбах.

Он никогда не бывал в Монбелиаре, но название города показалось ему знакомым. Монбелиар... Монбелиар... ах, Монбелиар, владение герцогов Вюртенбергских, оттуда родом императрица Мария Федоровна, вторая супруга Павла Первого. Да, да — об этом ему в детстве говорила Фанни. Фанни очень гордилась тем, что родилась в одном городе с...

Неужели Фанни?!

Боже мой, сколько лет прошло — разве она еще жива?!

Вполне возможно — она была так молода, когда он был ребенком. Разница в возрасте, должно быть, не более двадцати лет...

— Да, это Фанни! — воскликнул он, перечитывая адрес отправителя. — Фанни!

Руки задрожали так сильно, что аккуратно вскрыть конверт не удалось — он разорвал его как придется, торопясь поскорее вытащить письмо.

Письмо от Фанни!

Весточка из прошлого, почти уже позабытого, но такого... такого.»

Дрожали руки, путались мысли, слезы лились из глаз, а в ушах зазвенел ее высокий чистый голос:

— Пьер, что с вами? Вам грустно, мой хороший? Не надо грустить — все пройдет!

— Все пройдет, все пройдет, все пройдет... — повторял он снова и снова.

Горло свело судорогой, губы задергались, воспоминания всплыли из глубин памяти и исторглись в протяжный вопль, перешедший в рыдания.

Тотчас же прибежал Алексей. Он с женой занимал первый этаж дома, снятого Петром Ильичом на окраине Клина. Сам Чайковский жил на втором.

Алексей попытался уложить его на диван, но потерпел неудачу — Чайковский рыдал, навалившись грудью на стол, комкая в руке лист бумаги. И рыдал так громко, так отчаянно, что Алексею стало страшно. Ему даже показалось, что с барином случился удар. Нет, кажется, при ударе лежат неподвижно... Впрочем, черт их разберет эти удары...

— Выпейте холодной воды, Петр Ильич.

Левой рукой Чайковский сбил стакан с подноса, а правой, в которой все продолжал сжимать бумагу, дважды махнул в сторону двери.

— Мне уйти? — собирая осколки с ковра, переспросил Алексей.

— Да! — всхлипнул Чайковский. — Иди!

В груди болело, кружилась голова, но видеть никого не хотелось. Хотелось умереть, здесь, прямо сейчас, чтобы больше никогда не страдать, не плакать. Очень, очень хотелось умереть, и поэтому он, всю жизнь панически боявшийся смерти, понял, что сейчас не умрет — судьба никогда не давала ему желаемого тотчас же. Всегда долго водила за нос, заставляла трепетать от предвкушения, изнывать от ожидания, пока не исполняла его желаний.

Порой ожидание съедало всю радость. Вот и сейчас он знаменит, и можно сказать, что обеспечен, но что ему сейчас слава? Что ему деньги? Все это не радует и не может радовать его так, как обрадовало бы тридцать лет назад...

Мальчик исчез, его место занял молодой человек. Петр Ильич явственно видел себя молодым человеком в потрепанном сюртуке, который быстрым шагом идет вдоль Невского проспекта, старательно избегая встречаться глазами со знакомыми. Ему стыдно — он одет словно босяк. У него нет лишнего полтинника, чтобы ехать с урока на урок на извозчике. Он зарабатывает уроками почти сорок рублей в месяц. Неплохие деньги для какого-нибудь Вышнего Волочка или Вятки, но в Петербурге на них не разгуляешься.

Молодой человек курит самые дрянные папиросы и не гнушается вместо обеда купить у торговки и съесть на ходу грошовый пирог с вязигой — так гораздо экономнее.

И держитесь за бока, господа, чтобы не лопнуть со смеху — перед вами генеральский сын, окончивший Училище правоведения!

Ему бы иметь хоть триста рублей в месяц — он бы был рад без памяти этим деньгам...

Позавчера в компании племянника Боба и его друзей Петр Ильич ездил развешаться в Москву. Прожигал жизнь как мог, всюду платил за всех, истратил пятьсот рублей, а радости душе не было никакой — только привычная усталость ото всего на свете.

А то, бывало, наешься, отогреешься чаем и просто плывешь от счастья, предвкушая, как отдохнешь немного и сядешь за инструмент...

Бывали времена...

Услышав новые рыдания, Алексей быстро поставил на поднос полный

графин с коньяком и большую рюмку и вновь поднялся наверх. К Петру Ильичу заходить не стал — терпеливо ждал за дверью, и, чтобы убедиться, что с барином не случилось ничего страшного, украдкой поглядывал в щелочку.

Все проходит — вот Петр Ильич замолчал, откинулся на спинку стула и принялся утирать красное заплаканное лицо рукавом домашнего халата. Теперь можно и войти.

— Знаешь ли ты, от кого я получил письмо?

Нет, что бы ни говорили, а коньяк — это лучшее после музыки изобретение человечества.

Мгновенно помогает успокоиться.

— Не знаю, Петр Ильич, — улыбнулся Алексей. — Я не читаю вашу переписку...

— Это Фанни, помнишь, я рассказывал тебе о ней? Моя Фанни!

— Не может быть! — ахнул Алексей.

Чайковский казался ему стариком, а уж его няня... Должно быть, она ровесница пушкинской Арины Родионовны.

— Может! — заверил Чайковский. — Сядь вот, послушай...

Письмо действительно написала Фанни, так и оставшаяся на всю жизнь мадемуазель Фанни Дюрбах.

Фанни написала, что хочет увидеть его, и просила поторопиться, потому что ей уже пошел восьмой десяток.

Фанни написала, что у нее сохранилось кое-что из его детских рисунков и тетрадок. Он был ее любимцем, и она хотела иметь перед глазами память о нем.

Фанни написала, что очень хотела бы вернуться в то благословенное время, когда она жила в Воткинске.

Фанни засыпала его вопросами о родных — она помнила всех так, словно это было вчера.

Ответное письмо он написал быстро, но почему-то уже успело стемнеть.

Он не замечал Алексея, вошедшего, чтобы зажечь свечи, не слышал шелеста сдвигаемых портьер, не чувствовал покалывания в руке, сжимавшей перо.

Ответ на восьми мелко исписанных листах ушел в Монбелиар на следующее утро...

Спустя полгода, по дороге в Париж, он навестил Фанни...

Очень волновался — вдруг она изменилась так, что он не узнает ее.

Трясся в экипаже по мощеным улицам захолустного городка и не мог

поверить в чудо...

Зря не верил — два дня, проведенные в Монбелиаре, были настоящим чудом!

Волшебством, отбросившим его чуть ли не на полвека назад.

И пухлая старушка с добрыми глазами, окруженными паутиной морщинок, стала молодой красавицей...

И пожилой композитор превратился в восторженного ребенка...

И чопорный прилизанный Монбелиар вдруг стал грязноватым, пыльным Боткинском. Городом детства, таким милым, что сердце замирало в груди от восторга...

Он листал свои детские записи и при виде каждой пометки испуганно смотрел на нее — вдруг рассердится...

Фанни никогда не сердилась — только огорчалась. Ненадолго, огорчаться надолго она не умела...

— Я до сих пор даю уроки! — гордо сказала она, когда он предложил ей денег.

А на прощание заглянула ему в глаза и спросила пытливо;

— Вы счастливы, Пьер? Скажите мне — вы счастливы?

— Да, счастлив, — соврал он и поспешил уйти, пока его не уличили во лжи.

Три дня он не пил ничего, кроме коньяка, и выглядел совершенно трезвым, только глаза краснели все больше и больше.

— Месье, должно быть, англичанин? — уважительно интересовались гарсоны.

В их представлении только англичане могли пить превосходный коньяк залпом, словно воду. Англичанам неведомо утонченное наслаждение, это все знают.

Приличного вида господин в ответ ругался такими словами, от которых покраснел бы любой бродяга, и требовал принести еще коньяку.

Он грустил, потому что понял — одна только Фанни любит его бескорыстно.

Не за то, что он пишет хорошую музыку, не за то, что он приятен в общении, не за то, что он легко сорит деньгами, а всего лишь за то, что он просто живет на свете...

Как там писал Леля?

Всё, чем я жил, в чем ждал отрады,

Слова развеяли твои...

Так снег последний без пощады

Уносят вешние ручьи...  
И целый день с насмешкой злою,  
Другие речи заглушив,  
Они носились надо мною,  
Как неотвязчивый мотив.  
Один я. Длится ночь немая.  
Покоя нет душе моей...  
О, как томит меня, пугая,  
Холодный мрак грядущих дней!  
Ты не согреешь этот холод,  
Ты не осветишь эту тьму...  
Твои слова, как тяжкий молот,  
Стучат по сердцу моему.<sup>[20]</sup>

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ «ЗАКАТ»

Судьба, некогда весьма щедрая к ней, вдруг опомнилась и начала забирать дары обратно.

Володя, старший сын, «надежда династии», как называла она его про себя, много болеет. Нервы у бедного мальчика никуда не годятся, да и состояние всего организма в целом оставляет желать лучшего.

Володе бы быть почтовым чиновником или же, к примеру, заведовать какой-нибудь тихой канцелярией. Тогда бы он был счастлив, ибо огромная ответственность угнетает его, а необходимость то и дело принимать важные, можно сказать — судьбоносные для дела решения оборачивается частыми нервными срывами. Он всегда был самым усердным и самым полезным ее помощником в делах, не имея к этому никакой склонности, а всего лишь исполняя свой сыновний долг. Дурная болезнь, подхваченная Володей в юности, постепенно ослабила его умственные способности, сделав его совершенно непригодным к ведению дел.

К великому сожалению своему, она поняла это слишком поздно — старший из сыновей к тому времени успел пустить на ветер изрядную долю капитала.

Коля тоже не приспособлен к жизни. Добровольно взвалил на себя обузу в виде имения (и еще заплатил за него сто пятьдесят тысяч рублей) и теперь остался вообще без состояния.

Все сожрал, все поглотил этот ненасытный Копылов, который заново пришлось отстраивать и обустривать — оснащать всем необходимым. За сто пятьдесят тысяч глупому молодому человеку продали руины...

Обиднее всего, что Коля пострадал по вине своего тестя, Льва Васильевича. Это он настоятельно советовал ее сыну поскорее обзавестись имением и даже подыскал ему подходящий вариант.

Подходящий вариант! Будь он проклят, этот «подходящий вариант», оставивший от более чем миллионного состояния Коленьки какие-то жалкие гроши. Нет, она все понимает, Лев Васильевич сделал это не по злему умыслу, у него был другой мотив. Страдая всю жизнь оттого, что злой рок лишил его собственного имения, он постарался поскорее обеспечить имением свою дочь, Колину жену. И, надо отдать ему должное — обеспечил.

Как она могла так ошибаться? Где был ее разум? Зачем она столь активно подыскивала сыну жену в семействе Давыдовых? Как она могла

разрешить Коле пользоваться советами человека, спокойно взиравшего на то, как его собственный дом превращается в притон морфинистов? Почему она не воспротивилась покупке Копылова? Или, на худой конец, не заставила Колю взять другого управляющего вместо тестя? Подумать только — когда-то она мечтала отдать Браилов в руки Льва Васильевича! Уберег Господь... Нет, дом в Москве она Коле купила, теперь он должен поскорее избавиться от имения и продолжить службу на железной дороге. Инженер он хороший, это признают даже враги.

Как же все это ужасно! В течение всей своей жизни стараешься обеспечить своим детям достойную жизнь, вроде бы достигаешь своей цели, но только для того, чтобы наблюдать, как все, сделанное тобою ценой титанических трудов, идет прахом. Наблюдать и рыдать от своего бессилия, сознавая, что ты не в силах ничего изменить!

Саша тоже почти разорен. Его мясной экспорт был подрублен на корню внезапным ростом курса русского рубля и плохим качеством мяса. Доверчивый Саша плохо следил за своими подчиненными, которые не гнушались наживаться, закупая за мзду всякую дрянь вместо первосортного товара. Во время последней их встречи она ужаснулась тому, как плохо выглядит Саша. Осунулся, лицо почернело, глаза запали, руки дрожат... И вдобавок он чересчур увлекается... да что уж кривить душой наедине с собой — Саша потихоньку спивается, и поделать с этим ничего нельзя.

Но хуже всего с Милочкой, которую просто околдовал ее муж, князь Ширинский-Шихматов, товарищ ее Макса по Училищу правоведения. Когда-то он казался ей таким милым, порядочным, смышленным, что она с радостью отдала за него Милочку.

Князь и впрямь оказался смышленным, только, увы, без капли порядочности. Опутал, околдовал бедную Милочку, совершенно задурил ей голову, а дождавшись Милочкиного семнадцатилетия, сделался ее попечителем, чтобы иметь возможность бесконтрольно распоряжаться приданым жены. И каков оказался мерзавец — получил за женой полмиллиона, а налево и направо утверждает, что ему дали всего пятьдесят тысяч!

Милочка отдалилась от матери, братьев и сестер и всецело принадлежит теперь этому лживому наглецу. Наивная девочка верит всему, что ей говорит муж.

Пока ничем серьезным не огорчил мать Макс. Но и порадовать не успел... Какой-то он... блеклый, скучный.

Не лучшим образом обстоят дела на Рязанской железной дороге.

Компаньоны объединились против нее и неустанно чинят ей всякие пакости, пытаясь выжить из дела. Кругом зависть, ложь, интриги, лицемерие. Ей принадлежит всего десять процентов акций, и она не может избавиться от врагов. Приходится терпеть, уговаривать, идти на уступки.

Доходы от железнодорожных перевозок падают день ото дня благодаря политике государства. Кажется, казна намерена прибрать все частные железные дороги к рукам. Да не «кажется», а точно хочет прибрать! Министр усердно притесняет все частные железные дороги, стремясь полностью лишить их владельцев прибыли. Несколько дорог уже перешли к государству — Харьковско-Николаевская, Тамбовско-Саратовская, Муромская, Путиловская... Когда-нибудь и до Рязанской дело дойдет. Грех так думать, но как же хорошо, что муж не дожил до наших дней! Он бы не выдержал...

Но ей придется выдержать — больше ведь некому. Она должна удержать в руках последние крохи состояния и разумно распорядиться им, чтобы никому из ее детей не пришлось бедствовать после ее смерти.

Господи, дай же сил!

Как радовалась она тому, что все ее дети стали самостоятельны, как ждала того дня, когда ей не нужно будет опекать кого-то! Рано, оказывается, радовалась...

Увы, она уже не в состоянии больше заниматься меценатством — даже Петру Ильичу она уже никогда не сможет помочь деньгами...

«Милый, несравненный друг мой! — написала она. — Дела мои сложились так, что мне грозит разорение, и Вы не можете себе представить, милый друг мой, в каком я угнетенном, тоскливом состоянии. Поправить я нигде ничего не могу и боюсь только, чтобы самой не сойти с ума от постоянной тревоги и постоянно ноющего сердца. Боже мой, боже мой, как это все ужасно...»

Баронесса фон Мекк исписала целую стопку бумаги, пока не удовлетворилась результатом. Перечитала и добавила постскриптом: «Извините, дорогой мой, за такое неопрятное письмо, но моим нервам всегда бывает трудно ладить с какими-нибудь лишениями. Если Вы захотите обрадовать меня Вашим письмом, то до среды прошу адресовать его в Москву. Вспоминайте иногда обо мне. Мне это будет очень приятно».

Она боялась, что он обидится и ничего не ответит, но вопреки всему ждала его письма.

Ответ из Тифлиса, где Петр Ильич гостил у брата Анатолия, назначенного туда вице-губернатором, пришел вскоре.

«Милый, дорогой друг мой!

Известие, сообщаемое Вами в только что полученном письме Вашем, глубоко печалило меня, но не за себя, а за Вас, — отвечал он. — Это совсем не пустая фраза. Конечно, я бы солгал, если бы сказал, что такое радикальное сокращение моего бюджета вовсе не отразится на моем материальном благосостоянии. Но отразится оно в гораздо меньшей степени, нежели Вы, вероятно, думаете. Дело в том, что в последние годы мои доходы сильно увеличились, и нет причины сомневаться, что они будут постоянно увеличиваться в быстрой прогрессии. Таким образом, если из бесконечного числа беспокоящих Вас обстоятельств Вы уделяете частичку и мне, — то, ради бога, прошу Вас быть уверенной, что я не испытал даже самого ничтожного, мимолетного огорчения при мысли о постигшем меня материальном лишении. Верьте, что все это безусловная правда; рисоваться и сочинять фразы я не мастер. Итак, не в том дело, что я несколько времени буду сокращать свои расходы. Дело в том, что Вам с Вашими привычками, с Вашим широким масштабом образа жизни предстоит терпеть лишения! Это ужасно обидно и досадно...»

Она вынуждена была прервать чтение, потому что строки вдруг начали расплываться. Успокоилась немного и продолжила.

Да, именно эти слова она и желала услышать от него. Желала и надеялась.

«Не могу высказать Вам, до чего мне жаль и страшно за Вас. Не могу вообразить Вас без богатства!»

Она и сама еще не свыклась окончательно с этой мыслью. На все нужно время.

«Последние слова Вашего письма немножко обидели меня, но думаю, что Вы не серьезно можете допустить то, что Вы пишете. Неужели Вы считаете меня способным помнить о Вас только, пока я пользовался Вашими деньгами! Неужели я могу хоть на единый миг забыть то, что Вы для меня сделали и сколько я Вам обязан? Скажу без всякого преувеличения, что Вы спасли меня и что я наверное сошел бы с ума и погиб бы, если бы Вы не пришли ко мне на помощь и не поддержали Вашей дружбой, участием и материальной помощью (тогда она была якорем моего спасения) совершенно угасавшую энергию и стремление идти вверх по своему пути! Нет, дорогой друг мой, будьте уверены, что я это буду помнить до последнего издыхания и благословлять Вас.

Я рад, что именно теперь, когда уже Вы не можете делиться со мной Вашими средствами, я могу во всей силе высказать мою безграничную, горячую, совершенно не поддающуюся словесному выражению благодарность. Вы, вероятно, и сами не подозреваете всю неизмеримость

благоденствия Вашего! Иначе Вам бы не пришло в голову, что теперь, когда Вы стали бедны, я буду вспоминать о Вас иногда!!!! Без всякого преувеличения я могу сказать, что я Вас не забывал и не забуду никогда и ни на единую минуту, ибо мысль моя, когда я думаю о себе, всегда и неизбежно наталкивается на Вас.

Горячо целую Ваши руки и прошу раз навсегда знать, что никто больше меня не сочувствует и не разделяет всех Ваших горестей...»

Впервые за последнее время баронесса фон Мекк почувствовала себя счастливой.

Неужели она сможет и дальше переписываться с ним?

С упоением ждать писем, обстоятельно отвечать на них... Чувствовать незримое присутствие друга... И, быть может, дела еще пойдут на лад и она снова станет полезной ему? Чем черт не шутит.

Но засела в душе, засвербела где-то мысль — если его доходы и впрямь сильно увеличились, и будут постоянно увеличиваться, то почему он сам не отказался от се пособия? Благородный поступок ее требовал благородного отношения.

Они были совершенно разными людьми, может быть, поэтому им было так интересно переписываться друг с другом. Надежда Филаретовна не могла понять, что у Чайковского деньги всегда утекали между пальцев. Композитор относился к презренному металлу совсем не так серьезно, как баронесса.

...Юлия избегала встречаться с ней взглядом. Значит — привезла очередные дурные вести.

— Прощу тебя, Юленька, выкладывай все сразу, — попросила она. — Я же вижу, что тебе есть, что сказать...

— Хочется чаю, — Юлия нервно передернула плечами. — Замерзла вся.

День сегодня выдался ненастный. Лило как из ведра, да еще порывами налетал холодный ветер.

Купчую подписали три дня назад, деньги ей были выплачены сразу же по подписании, как она и просила. В доме № 12 на Рождественском бульваре Надежда Филаретовна доживала последние дни. По уговору с новым владельцем, известным доктором Захаровым, она могла оставаться здесь не более двух недель, но намеревалась съехать раньше. Осталось только окончательно определиться с местом постоянного жительства.

Одна из двух избежавших расчета горничных накрыла стол в малой гостиной. Она пила чай молча, на Юлию не смотрела — наблюдала за пляской огня в камине.

В детстве она часами могла смотреть на огонь, выжидая, когда в нем покажется волшебная огненная саламандра — отец был большой любитель всяческих сказок, легенд и преданий и с удовольствием рассказывал их своим детям.

Саламандру она высматривала не просто так, а со смыслом. Отец утверждал, что эта ящерица служит вестником счастья, правда руками ее хватать не советовал.

— Я ее кочергой! — горячился брат Владимир.

— Не вздумай! — серьезно предостерегал отец. — Саламандра обидится и сожжет тебя.

Владимира сожгла страсть к вину. Известие о его смерти она получила в середине нынешнего лета. Не расстроилась, не всплакнула — непутевый брат давно стал для нее чужим, совершенно посторонним человеком.

Правда, надо отдать Владимиру должное, он ни разу в жизни не просил у нее денег. Интересно — почему? Считал зазорным? Боялся, что откажет? Не мог поступиться гордостью? Теперь ей уже не узнать ответа. Да и не важно.

Если бы Владимир пораньше расстался с холостяцкой жизнью, его судьба могла сложиться иначе. Женское общество облагораживает мужчин, это неоспоримый факт. Но, к сожалению, брат женился очень поздно, в прошлом году, когда никто уже не в силах был отвратить его от пьянства и наставить на истинный путь.

Бедный папа, он так радовался детским успехам Владимира. Предсказывал ему большое будущее, грандиозную карьеру. Ею он никогда так не восхищался, но зато мнением ее очень дорожил, что да, то да.

Все-таки безумно жаль покидать этот дом, в котором все было устроено так, как ей хотелось. Но содержание его обходится недешево, да и вырученные деньги оказались весьма кстати — удастся погасить большую часть Колиных долгов.

Коля не хотел брать этих денег, но она была непреклонна, и ему пришлось согласиться. С условием, что он вернет ей долг после продажи Копылова.

Он все тот же наивный мальчик — верит, что его злосчастное имение можно продать с выгодой. Не понимает или же не хочет понимать, как в действительности обстоит дело.

Вряд ли ему удастся выручить за Копылов сумму, хотя бы равную стоимости дома на Рождественском бульваре.

К черту Копылов, не хочется больше думать о нем!

Лучше смотреть на огонь. Вдруг саламандре надоест прятаться? Ей

сейчас так нужен какой-нибудь хороший знак, какое-нибудь счастливое знамение...

— Как себя чувствует Владислав? — спросила она, когда молчать надоело.

— Спасибо, хорошо, — ответила Юлия. — Катар на время оставил его в покое, и он радуется жизни, словно ребенок.

Пахульский всегда умел радоваться жизни. Весьма ценное качество и, увы, очень редко встречающееся в людях. Юлии с ним было хорошо.

— Почему же Владислав не приехал с тобой? — удивилась баронесса. — Он чем-то занят?

Обычно Юлия приезжала к ней вместе с мужем.

— Я намеренно явилась к тебе без него, — ответила Юлия. — Так надо.

Снова молчание. Сколько же можно!

— Может, хватит намеков? — баронесса фон Мекк нахмурилась. — Я тебе не гимназистка, чтобы меня интриговать. Говори, если тебе есть что сказать!

— Есть, — подтвердила Юлия. — Я хотела...

— Ну же!

— Новости таковы, мама! Владислав вчера вечером неожиданно разоткровенничался и рассказал мне очень много неожиданного о лучшем из твоих друзей...

## **ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ**

### **«ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО БАРОНЕССЫ ФОН МЕКК ЧАЙКОВСКОМУ»**

«Милостивый государь Петр Ильич!

Надо Вам сказать, что я не умею отделять музыканта от человека, и даже в нем, в слугителе такого высокого искусства, я еще более, чем в других людях, ожидаю и желаю тех человеческих свойств, которым поклоняюсь. Если же, напротив, в музыканте нет человека, то его сочинения, чем лучше они в музыкальном отношении, тем больше производят на меня впечатление обмана, лицемерия и желания эксплуатировать наивных людей.

На днях из случайного разговора я узнала об Вас много недостойного. Об Вас насаждали мне таких ужасов, что я пришла в отчаяние. Это отзывы наших друзей, а им можно верить. Поверьте мне на слово, что как бы я ни любила кого-нибудь, но никогда не бываю ослеплена. Вследствие открывшихся обстоятельств, забудьте, Петр Ильич, Ваше знакомство со мной.

Я сегодня не в состоянии говорить в мажорном тоне. Извините меня, Петр Ильич, за все мои выражения, слезы подступают к горлу. Мне очень больно, Петр Ильич, сердце как будто перестает биться, и хочется умереть, ведь мы с Вами навеки расстаемся.

Желаю Вам всего хорошего.

Надежда фон Мекк.

PS. Будьте уверены, Петр Ильич, что я умею молчать о чем следует».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Антонина Ивановна попыталась навязать Чайковскому очередного бастарда, рожденного ею невесть от кого, и, конечно же, потерпела крах.

Однако успела изрядно потрепать нервы своему «милому Петичке». Годы «тяжких мытарств и всяческих унижений» закалили Антонину Ивановну — теперь ее приходилось в полном смысле этого слова выпихивать взащей, другого обращения «несчастливая женщина» не понимала.

Алексей, как всегда, оказался на высоте. Вежливо, но твердо, взял ее под руку, увлек за собой, внимательно слушая новую выдумку про сватовство некоего почтенного генерала-вдовца (в душе Антонина Ивановна всегда отдавала предпочтение военным) — и вот уже за курносой гадиной захлопнулась калитка.

Чайковский с тоской подумал о старинных рыцарских замках с высокими каменными стенами, глубоким рвом, подъемным мостом и бдительными стражами у ворот... Вот где был покой!

Антонина Ивановна обещала навещать его.

И он знал, что она непременно сдержит свое слово.

Гадина, одним словом. Испытание, ниспосланное ему свыше за все его прегрешения.

Вдруг словно пелена упала с глаз его. Чайковский вдруг понял, что в глазах Надежды Филаретовны он выглядит столь же докучливым субъектом! Наглецом, добивающимся общения, в котором ему настойчиво отказывают.

Уподобиться Антонине Ивановне? Нет, невозможно!

Он поклялся всем самым дорогим для него, что не напишет более ни строчки баронессе фон Мекк, если не получит от нее ответа.

Четыре письма написал он ей. Четыре совершенно разных письма.

В первом он недоумевал.

Во втором просил объяснений.

В третьем делал вид, что ничего не произошло. Обычное письмо, каких уж сотни были написаны между ними.

В четвертом он просил простить его, хоть и не понимал, в чем заключалась его вина перед ней и, судя по всему, вина великая.

Она не отвечала на письма, но и не возвращала их нераспечатанными, как поступал он с письмами Антонины Ивановны.

Она хранила молчание.

Он брал с нее пример.

В период черной меланхолии Чайковский пишет оперу «Пиковая дама», которая была заказана ему дирекцией императорских театров. Два года он раздумывал — браться или нет, и все же взялся. Взялся, несмотря на то что жизнь не радовала его в то время. Петр Ильич сам признавался в письме к композитору Глазунову: «Переживаю очень загадочную стадию на пути к могиле. Что-то такое совершается внутри меня, для меня самого непонятное. Какая-то усталость от жизни, какое-то разочарование: по временам безумная тоска, но не та, в глубине которой предвидение нового прилива любви к жизни, а нечто безнадежное, финальное... А вместе с этим охота писать страшная... С одной стороны, чувствую, что как будто моя песенка уже спета, а с другой — непреодолимое желание затянуть или все ту же жизнь, или еще лучше новую песенку...»

Работой он пытается разогнать тоску. Почти удается.

Талант композитора, прекрасное либретто его брата Модеста, благожелательное ожидание критиков... Опера, написанная во Флоренции менее чем за пятьдесят дней, была просто обречена на успех.

«Оперы следует писать (впрочем, точно так же, как все остальное), — писал он Танееву по поводу успехов „Пиковой, дамы“, — так, как Бог на душу положит. Я всегда стремился как можно правдивее и искреннее выразить музыкой то, что имелось в тексте... Итак, выбравши сюжет и принявшись за сочинение оперы, я давал полную волю своему чувству...»

Почему-то захотелось изменить имя главного героя. У Пушкина он носит фамилию Германн, а в опере его зовут Герман, и это его имя, а не фамилия.

Сам Чайковский называл оперу «Пиковая дама» «шедевром». Ждал успеха, верил в него, но действительность ошеломила его...

Это был не просто успех!

Это был огромный успех! Грандиозный, не сравнимый ни с чем!

Вслед за Петербургом опера была поставлена в Москве, в Киеве и даже в Праге!

Неприятности с «Чародейкой» были позабыты.

Следующей и последней оперой Чайковского станет «Иоланта». Либретто к ней снова напишет Модест. Трогательная история незрячей королевской дочери Иоланты, прозревшей благодаря любви, превосходно подошла для лирической оперы.

Премьера «Иоланты» совместно с балетом «Щелкунчик» состоялась в декабре 1892 года в петербургском Мариинском театре.

И тут он не выдержал — нарушил обещание не писать более баронессе фон Мекк. Вернувшись в гостиницу с премьеры «Иоланты», Петр Ильич вдруг почувствовал потребность написать ей.

Колебался, пытался убедить себя, что поступает глупо, смешно, недостойно, однако борьба с самим собой, как и ожидалось, завершилась полным поражением. Он написал еще одно письмо Надежде Филаретовне. Просто не мог не написать.

Даже не письмо, а записку:

«Я благодарен Вам за все».

Ни обращения, ни подписи — зачем? И так ведь все ясно...

Он чувствовал, что она продолжает внимательно наблюдать за ним, за его успехами, за его неудачами. Он верил, что иначе быть и не может. Слишком крепка была связь между ними...

Она пережила его всего на два месяца с небольшим. Умирала долго и тяжело — у нее был туберкулез. Лист бумаги со словами «Я благодарен Вам за все» сожгла над свечой за сутки до смерти.

Ему не за что было благодарить ее — он был ее жизнью.

---

notes
-------

## Примечания

**1**

Евангелие от Матфея 7,1.

2

Победа турок!

О, святая простота! (лат.)

А.С. Пушкин. «Предчувствие».

И. В. Гете. «Песнь арфиста», перевод Л. Мея.

За и против (франц.).

Отречение; клятва отречения (*англ.*).

Барбье (Barbier) Жюль Поль (1822, Париж — 1901, там же)  
французский драматург и либреттист.

Первый любовник (театр, амплуа) (франц).

**10**

Претендента (франц).

Нет прав без обязанностей [франц].

А.Н. Апухтин. «Мухи».

А.Н. Апухтин. «Мухи».

М.Ю. Лермонтов. «Тучи».

Это меню, перегруженное острыми Кушаньями (франц).

Версаль — резиденция французских королей, славящаяся своей роскошью.

Имеется в виду Большой Трианон — один из версальских дворцов.

А. Апухтин. «Минуты счастья».

А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...».

А. Апухтин. «Всё, чем я жил...».